

ВАДИМ КОЗОВОЙ

# ПОИМЕННОЕ

«СИНТАКСИС»



**«СИНТАКСИС»  
1988**

ВАДИМ КОЗОВОЙ

# ПОИМЕННОЕ

ПАРИЖ

© «Syntaxis» 1988

8, rue Boris Vildé  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

Таз — солнце! Бритва — рока молния!  
Темница — только несколько темных де-  
сятков годов! Ты готов; жди. А я, бывое  
диво, — я ныне новая Сольвейг; я возле,  
я очно — очнешься, я тут, девочка двенад-  
цати лет.

*Тихон Чурилин*



Волею бараньих судеб и их скотолобчивых тишком повелителей сочинитель предлагаемого читателю сверхдальному лишился единственных по сердцу своясей и приговорен быть с топорно-безухими на сомнительном в толчях коротке. Первоначально эти страницы не нуждались ни в посвящении, ни в эпиграфе, ни даже напрочь в имени так называемого автора. Какая былинка в навидавшемся чертей просторе не смогла бы их высохшей дотошно горечью по воздуху нацарапать, шекотно посмеиваясь или улыбаясь дурой под обжигающим сызмальства вздыбом российской заоблачной судьбы? Детки малые, волчата нечесанные, вы поймете — да нет у вас голоса, чтобы в струну из овражьего совестными отозваться. Потому вместо вашего с морозцем эха прокричу вместе с драповым не по сезону Пушкиным:

*Отдайте мне метель и вьюгу  
И зимний долгий мрак ночей.*

И без надежды на повелевающих, для бедовой добавлю по-свойски, загадывая наперед ворожбой и невиданное почему:

*рыба-меч  
не мучь  
рябой пасечник  
не морочь  
научите казнить и нежить*

1984





**I**



## ВЕЧЕР

*То не ветер ветку — клонит дед малолетку...*

Песня — дурочка, припев — спьяну мужик, а и режут-то по сердцу граммофоном с иглой: "Жгись, лучимая! Жги чин по чину!" Ты догораешь, я догораю, вы догораете, мы догораем... ну и сгорим, только кто же останется, чтоб золу по болотцам по батюшке вспомнить, копать в тучишах в бабкину мать помянуть, чтобы встать на дороге этак голым перстом, меловым, но и каменным, как лингам в запустеньи, где некому больше по чертополоху сквозь тьму колесить от звезды до звезды?

А сказала-то Нюта бабушке просто: "Надоела! Что ты все себя чувствуешь?" Бабушка ей по-людски не ответила, лишь положила корявую жабу-ладонь на рыжие Нютины волосенки. Страшно вдруг стало девочке под этой непрошенной столетней лаской. Она всхлипнула и убежала в угол теребить поделом куклу Матрену. А бабушка на нее тарашилась, видя сдуру туманы, своими выпученными от долгожительства глазами. Было да сплыло... мало ли что... рыжим разве понять? Пришел увальнем Костя, швырнул драный ранец на стол и принялся жевать столбняком заплесневелые макароны. Хомяк Архипыч на пустой желудок грыз в клетке захлеб кособокие жердочки. Дождь пошел за немытым окном, то сперва жулик бисерный, а то бес в пузырях. Костя глодал

по-псиному кости, глядя в злости на улицу. Стояла под дождем раскорякой пузатая и видная насквозь цыганка Василиса, показывая кому-то сгоряча любопытному на свое бесстыжке вымокшее место. Костя тужился. Архипыч крутился. Нюта шептала в потемках над куклой: "Чтоб ты подохла! Чтоб ты лопнула, старая закорючка!" Стул скрипел под бабушкиной задницей. Давно пора было менять стулья. Найти бы такого татарина-меняльщика... да где ж их теперь, бедолаг, возьмешь? Доконали! Тут возникла с букетиком мама, босиком распахнула сырое окно и, на мореную Василису не глядя, стала молчком поплевывать семечки в коченеющую по совести грязь. Что добавить, не знаю. Вы не знаете, мы не знаем, они не знают... Что добавить не мудрствуя под переплет в нищий дыхом со дна тоскотищи рассказ, которому еще далече плестись до небрежно архангельским ветродуем распахнутой книги жизни?.. Подоконник отсвечивал. Подбородок светился. Сгоряча любопытный выбросил, хлопнув дверь, сноп электричества. Пустая банка покати-лась к стеклянкам. Где-то звякнуло, брякнув. Чья-то мышка, пиликнув, упрянула скрипочку. Кукла же Матрена в согнутом положении, уподобившись запросто остекленевшему с голоду хомяку, глухо взблескивала желатином белка, равнодушная сослепу к рыжеволосой по гроб и без песни бормочущей до могилы кручине.

*То не деда детку — гонит кот вагонетку...*

Избоченилась фертгом писклявая буква, бельма выпучил старушачий Гомер:

— Стрекочи, дурачина! Жги, сказка, впотьмах!

Ты догораешь, я догораю, вы догорае... они догора...

— Да не сказка — душа!

Пышет в тучише ли с хомьяками, тлеет с куклами ли по болотцу...

— Печет!

Сама с семечко, голова луковкой — ничего кроме луковичной, дыбом волос, головки, раскаленной до жертвенных по безветрию градусов...

— Чья?

Сгоряча, мол, и я, вы за ней, она к ним...

— А сгорим?

...и когда отбренчим чин по чину, кто по ба-тюшке, а кто в бабкину мать...

— Вспоминать?..

...ради песни останется поминальным столбом на дороге лучимая меловеть Василиса, пока не сомнет ее в хрясть по-цыгански пробегающий чертополохом из тьмы во тьму грузовик.

## НОВОГОДНЕЕ

Валерий стучал ногтевыми костяшками. Ксения — по столу влюбчивой головой. Владимир Ильич кивал рыжеватой злокозненной бороденкой, как маятник времени над туманом людей.

Подполковник Хренков был в преклонных уважительных годах, но считал полным правом и долгом чести выполнить волю отечества.

Глафира, поседевшая в срок на вкопанном стуле кассира, трудилась неистово над мытьем шевелюры и чисткой бордюров.

Изидочка Зрящая — таковая, как сказано.

Ученый Ломоносов, родившийся в Чернигове и никогда не ездивший прохладиться в Архангельский край, значился в списках.

Они устроили елку.

Елка, по имени Лиза, была пятиконечной с мыльным хохольчиком на верхушке.

Праздновали в молчанку, лелея каждый свое настроение, как малое дитяtko.

Когда вошел чей-то шурин с бабехой, похожий на следственного, оных лет гиббона, и ударил в грязь.

Общество расшевелилось: пошло битье посуды, маленький мордобой и выкрутасы с девицами.

Лиза стояла тихо, как манечка, и слушала шарк лягушек, забредший по календарной ошиб-

ке в самозванное общество каменных с пилястрами троглодитов.

Год тысяча девятьсот некий с аршинным хвостиком наступил на ногу зверю предшествующему и шепотнул ему, извиняясь, что конец не за горами.

Лиза уснула.

Налетела с воздуха мина.

Угасло.

Рассвет был морозен и не смеялся.

От этих субъектов к утру не осталось ни камешка, ни даже раскопчного на память черепка.



## ВСТУПЛЕНИЕ

...Прошу вас именем чести, вашей собственной славы не отказываться от поединка. Я могу быть несчастлив, но есть друзья, которые поручиться готовы, что вы будете иметь дело с честным человеком.

*Константин Батюшков —  
графу Нессельроду*

”У тебя, Люля, на груди хрестик, а у меня — орден Бутузова”, — сказал мучаясь, Александр во сне. Он себя чувствовал перед Люлечкой виноватым и сморкался в женский платочек. Старик Диомид, тряханув бородой, дружески хлопнул его по спине. ”Успокойся, Димитрий, — сказал он Лександру, — на Гороховой новую баню построили”. Разделись, стали мыться-плескаться. Вода была мелкая, в завитушках и щиплющей по животам синевы. Девочка в свежих, как бинт, чулочках руководила с берега упражнениями водоплавающих. Махали крылья. Пугливые утки сдуру воображали себя людьми. Александр, не то Димитрий, посмотрел в зеркальце, которое держал осторожно, опасаясь проснуться. В окно заглянуло шегольское июльское солнце. ”Люля, — сказал он белому Диомиду, — поверь, у меня к тебе нет разных грубых поползновений”. Диомид снял чулочки и бросился в воду. Зеркало плыло рядом, жалобно косясь на Димитрия. Еще раз всплакнул. Некуда деться! Он снял с груди орден

Бутузова, уронил его под ноги в распашонку и, ступив как есть на цемент, принял холодный душ отрезвления. Дом светился по-утреннему изнутри. Лилия хлебала из блюдечка молоко. Дмитрий Демидыч, весь седенький и прозрачный, в соседней комнате над грудой нотных листов. Но знаменательно, что вихры... На стене притворялась открытой вечнобесстыжая физиономия Сталина. "С этой минуты, — решил Александр, — начинаю новую жизнь". Сплошь до сумерек просидел он, конспектируя Якова Бема и отрываясь только затем, чтобы вписать в тетрадку особо пару-другую еще не слышанных строк. Кому надо, найдет... а пока: мелькали кое-какие тени, склонялось вдруг по-кошачьи молочное выражение Лили, а в снежной дали по роялю мыкались пальцы Д.Д. Когда в десять часов за ним явились в мундирах и статском, Александр встретил их до насмешливости спокойно, зная, что никакой переплет не задавит гудящей в нем для иных времен мысли. В этом сне он и прожил, как Батюшков, благополучно до осени ...4 года, когда грянули долгожданные и обманувшие слишком многих события.

## О ЖОКЕЯХ

”Я человек, а не лошадь!” — взбрыкнулась Фаина. Но Жухов, настегивая кнутом, погнал ее, в чем была, к ипподрому.

Арсений Бельмесов, жокей, только присвистнул. Гран При налицо! Осматривал, впрочем, придирчиво.

Фаина притихла. Зубы ровные, белые, как у людей; холка приглажена, с двумя висюльками; грудка вмазанная: червонная масть! Круп-то твой, лошадь, где? Чуть-чуть бедрами стоит-повиливает...

Жухов жмурился. Арсений ловко провел по бокам и приподнял одну за другой тесные ножки в полбархатных сапожках. Фаина слегка покачнулась, опомнилась: ”Я тебе, милоч, не лошадь”. ”Сейчас, сейчас, любушка”, — заторопился Бельмесов и вдруг вскочил на хребет, потянул за косячки. Слеза покатилаь. Фаина подалась. Жухов махнул с приветом рукой; глаза его стали сахарными.

Толпа взревела. Девятнадцать зверюг под наездниками как раз ждали недостающего. ”Кони сытые...” — вспомянула Фаина и, сразу выкинув из головы, думала сумрачно, в одну точку: как и чем отплатить хаму Жухову. Руки висели свободно; полезла за пудрой в сумочку. Тоже и зеркальце вынула: хороша! Потянуло навозом. Громыхнул самолет. И прочая. Ну и черт с ним.

Как бежала, самой не понять. Кони гнались стыдливо и беспорядочно, а у нее в висках стучала бешено прямолинейная мысль: что надо ему, распроклятому, утереть как следует нос. "Дело-то в чем, — говорила Жухову, когда уже помирились и, сидя на нем, смахнула волосок с обнаженной груди, — главное: быть уверенным в собственной правоте". И Жухов, родом из Пскова, жмурился, соглашаясь.

... Толпа орала: "Давай, давай, рыжая!" А потом всякий дурак норовил поздравить, попробовать и пощупать. Но она дышала, как загнанная, и на поздравления не отвечала.

Большой Приз поставили в столовой, среди фотографий на посудной горке. Арсений же Бельмесов стал бывать в доме и регулярно на Фаине езживал. Для поддержания формы. Фаина привыкла, даже не терпелось, а Жухов составил расписание. Ведь не какой-нибудь с улицы, а перво-классный жокей.

## ВРЕДИТЕЛЬСТВО

Паровоз Гаврилов чинил пишущие машинки. К нему толкали на погрузку вагоны из депо, но он их отпихивал порожняком в гнойную яму, ставя в крайний тушк посменных железнодорожников.

Кочегар Димитрий втайне занимался сочинительством. Когда его машинка на пятисотой с куточком странице начала окончательно со всех сторон барахлить, он обозлился до неузнаваемости и вышвырнул ее в топку паровоза Гаврилова.

Гаврилов смеялся. Таково было блаженство внезапности, что он стал неприлично похрустывать пальцами. Глаза у него сделались навывкате.

Через час или меньше машинка была — с иглопочки.

Пьяный Димитрий спрятался в паровоз и плакал благодарственными слезами. Гаврилов похлопал его по спине, и он заплатил ему сорок рублей. Расписку от полноты чувств порвал.

Эту историю он рассказал железнодорожному следователю Овчинникову. Овчинников записывал. Будучи себе на уме, он тишком выступал за отделение железнодорожных линий от государства. История пришлась в самую точку. Он долго хлопотал в своем ведомстве и разными правдами-неправдами добился для Гаврилова ордена.

После чего Овчинников затаился.

А роман кочегара Дмитрия паровоз Гаврилов так и не прочитал, интересуясь лишь рукомерлом с машинками. Отмеченный орденом, он стоял недвижим в безопасности на запасных путях и, томясь без хорошего дела, гноил в пакостной яме нужные государству вагоны. Роман, впрочем, (ушедший ценной посылкой) оказался вредительским, и Дмитрия, будто стыдились признаться в грехе, начисто вымели из разговоров.

## СТАРИКОВСКОЕ

Ассирий Вавилонович не любил безбородых. Он испытывал, глядя на них, тошноту и смутные поползновения. Когда же увидел Алексеича, то за-  
немог совсем.

Алексеич работал по спортивному делу. Мастерил подставки для бегуновых ног и всякое этакое. Бородатых сюда не подпускали за версту.

Ассирия Вавилоновича он встретил в трамвае. Попросил его передать на билет и сразу же отвернулся. Ехал он к Прохору потолковать по душам. Давненько он не видел Прохора. Если б ему только сказали!

Ассирий Вавилонович, испытав потрясение, уцепился за внутреннюю трамвайную ручку и стал с ней разговаривать. Больше не с кем было ему поделиться, потому что он похоронил и жену, и двух братьев, и всех своих сверстников.

Ручка, вполне живая, называлась Соня. С виду истертая и загаженная, она сохраняла, однако, душу нетронутой, а потому с особенным трепетом отвечала бедному старику. Никогда еще пассажир не обращался к ней с теплым словом.

Алексеич сошел молча на нужной остановке, но Ассирий Вавилонович даже не заметил, продолжая нашептывать свои ужасы Соне и поглаживать ее нежной, почти китайской ладонью.

У ручки разрывалось сердце. И она согласилась, едва сдерживая слезы, разделить оставшиеся дни старика.

Ассирий Вавилонович был человек методический. Вычеркнув Лексеича из своих мыслей, он направился под покровом ночи к заветной пиле и, спрятав ее в ружейный чехол, пробрался на задворки трамвайного парка. Там он быстро разыскал свою Соню и освободил ее от железного гнета, не повредив конечностей.

Дома пили чай с булочкой. Соня выбрала себе чистенький уголок на кухне, а когда заходили чужие, притворялась больной. Ассирий Вавилонович научил ее разбирать самое простое по буквам, укутывал перед сном тщательно, чтобы не продуло, и, не стыдясь удовлетворить мельчайшие прихоти, называл ее до самой смерти *моя рученька*.



## ОБМАН

Лева плевать хотел на тетю Соню. Но Аркадий Велизарович велел ему с тетей Соней говорить.

Такой маленький белый песик, Лева! Как мог он разговаривать с ужасной сиреновой тетей Соней, весящей сто и больше кило? Увы, для этого его и выдрессировали, и отдали в хорошие руки, чтобы он беседовал с нужными людьми.

Лева был раздражен и наговорил тете Соне гадостей. Аркадий Велизарович заглянул снова в комнату, когда тетя Соня открыла настежь свой некрасивый рот, а дурак Лева злорадно хихикал.

Тогда Аркадий Велизарович взял за ручку хорошую плетку и стеганул Леву, как на арене воздух перед зрителями. Потом Аркадий Велизарович оставил их опять в интимном наедине, и Лева рассыпался в таких разухабистых комплиментах, что тетя Соня растаяла, как сахар, и превратилась в добренькую старую каргу.

Тетя Соня топнула с храпом ногой, и они долго шушукались на кухне с Аркадием Велизаровичем по секрету от Левы. Маленький белый песик прыгнул запросто в плюшевое кресло и послал их всех к чертовой бабушке.

На следующий или чуть больше день Левина физиономия красовалась обманчиво на странице доверчивой юношеской газеты, а Аркадий Велизарович собрал за стол нужных людей, чтобы отметить свои якобы выдающиеся достижения под мнимым куполом цирка.

## СУДЬБА

Простой и надежный стульчак, он тоже выдывал виды. Ничего, что его горизонт тесно сжат, ограниченный кратким светом замусленной лампочки. Он не чужд, Василек, искусству медитации. Сколько надумано и передумано в келье, где время не ищет развлекательных перемен! Главное — уметь сравнивать. Лампочка Туся, учитывающая размеры пространства, вполне могла бы сойти за солнце. Разумеется, тут не бывает ни пышных закатов, ни зябких восходов, потому что ведь Туся вспыхивает и гаснет мигом по естественной прихоти захожих гостей. Она больше похожа на капризную звездочку. Но Василек не горюет. Ему до Туси рукой подать, и, если ее заслоняет вязкая тяжесть сидящего, он не волнуется: через минуту или полчаса, вслед за рокотом водопада, Туся выглянет, подмигнет и погрузится снова в их общую, богатую мыслями тьму.

Но сегодня на душе у Василька тревожно. Чьи-то каблук топчут его без жалости, над ним порхают и грохочут масляные руки, а Туся горит, не унимается, так что ему становится жарко и насквозь прошибает пот. Дверь открыта, и, скосив глаз, Василек замечает тусклую бороду. "Напора нет", — говорит борода. "Натурально", — от-

вечают масляные руки, и каблуки режут его, беднягу, подковами. Василек ерзает и дергается, но руки продолжают, как невиданная гроза, погромыхивать, кляня ежеминутно чью-то ядреную мать. "Терпи, Василек", — шепчет ему звездочка Туся, на которой полыхает сегодня год активного солнца. "Надо менять", — ворчат масляные руки. "Не постоим", — гудит борода. "Всю систему!" — рявкает над Васильком. "Сколько влезет", — бухает за спиной у Туси.

Неспокойно на душе у Василька. Ох, беспокойно и, ах, как нехорошо! "Терпи, Василечек, терпи, — бормочет активное Тусино солнце. — Я, брат, тебя никогда не забуду". И страдалец Василек, приученный к мягкому и не выносящий жестких прикосновений, хочет отхаркнуться, давится, и кричит, и терпит. Надо! То ли еще будет! Но Василек знать не знает, что случается на свете всяческое и разное. Он просто-напросто боится страшного.

Когда оно приходит, Василек уже настолько измаялся ожиданием, так изъездили его лютые каблуки, что он радуется внезапной легкости и смотрит простецки, без удивленного перепуга, на склонившееся к нему коршуном багровое и внимательное лицо. Передышке, однако, срок недолгий. Вооружившись хирургическим предметом, масляные руки совершают над ним кровавую операцию. Василек сознает вдруг, что никаких еще не видывал видов. Он слышит хряск и зубовный скрежет, не понимая, как всякий человек под местным наркозом, растянувшийся на гладком столе, что все это слышимое происходит

именно с ним и не где-то там, за дальним горизонтом, а в его собственном и последнем нутре. Василька выносят, швыряют, трясут, забывают, но он уже ничего особенного и даже обычного не чувствует, потому что давно и накрепко потерял сознание.

Когда Василек открывает глаза, то старается сразу же и навсегда их закрыть, так слепит его тусклая бляшка широкого пасмурного неба. Но закрыться глазам больше не суждено. Они теряются в пустоте далекого и меняющегося, где не находят ничего себе близкого. Снизу его колют банки и стеклянки, а совсем рядом валяется погасшая звездочка. Но она похожа, серая, на обыкновенную смертную, и никто уже не скажет Васильку, дышит ли она или выброшена погибшей за ненадобностью. Нет, это не Туся. Ее образ, теряющийся без возврата, еще доносится разок, сжимая сердце, а потом он, мигнув, улетучивается, и мурашки бегут по коже у Василька, когда вспыхивает догадка, что его, наверное, похоронили живьем. Так и есть. Да, конечно же, что уж тут сомневаться: ему выпало, горемыке, леденеть вечно в этом костлявом гробу.

Холодает. Ленивый полуденный ветерок кажется бедному Васильку жгучим апокалиптическим зверем. Накрапывает дождик, и Василек плачет чужими слезами, лишенный в потустороннем царстве своих. Неслышимы слезы потухшей обиды. Он чувствует смутно, без проблесков мысли, что его окружают злосчастные в пропаже голоса братья и сестры, но нет ему больше дела до чужого страдания, потому что он разучился ве-

ритель и понимать. Ни жив ни мертв, он вглядывается, щурясь от страха, в блуждающий по тучам просвет и молит, молит небесного странника ниспослать ему рокот и водопад потопа, чтобы смыть навсегда его млеющий след с этой могильной, без конца и края, земли.

## НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

На засиженных посиделками стульях часто истрепывается обивка. Чтобы избежать такого облохмачивания ценного сукна, ученые из Института сидячих приборов разработали в целях номиологии метод усиленной закалки одомашненной мебели. К еще не засиженной мухами обивке исподтишка добавляется жгучий раствор ароматического клейстера, составленного из поливитамина ЯБКВД и прокипяченного в хорошем алюминиевом тазу кулечка тринитротолуола. Изготовленная таким манером настойка не вредит ни на грош яркой красочности и пружинистости сиденья, выжигая одновременно горячим клеймом ее врожденную способность к растрепанности и косматости. Ученые из Института сидячих приборов нашли под землей ненужные средства для введения вымышленного ими метода в мебелировочное производство. Теперь стулья, готовые для нежданных гостей, будут гореть ярким пламенем клейстера, а приходящие посидеть за бутылкой переберутся, возможно, для пушего их удовольствия, на пустующий странноприимный диван.

## БОЛЬНИЦА

”Аничка, сделайте, миленькая, операцию”.  
Ладно. И больной — человек хороший, и все равно ему помирать; уж лучше под нежными Аничкиными руками. А руки у Ани почище лайки. Тронет рассеянно ладонью лоб, и боли как нет.

Ниткой зашила накрепко, отвернулась и пошла кофе пить. Чашечка с блюдцем, а на блюдечке муха сидит. Стала Аня с мухой разговаривать. Муха будто понять старается, а потом на пол — жжых и в кошку рыженькую превратилась. Ане что... и не такое видала. Младенцы в колбе, собачонки с подпругами... Допила кофе, кошку подмышку, с ней в ногах и уснула. Тоскливо одной!

И снится ей, будто хороший человек больной пишет с нее портрет. То есть не портрет, а она ему вроде натурщицы. Помажет по холсту и за сердце хватается. ”Афанасий Трофимыч, — говорит Аня, — зачем вы животное обижаете?” Голая, а не стыдится; истина прежде всего. И Афанасий Трофимыч белеет, и, хлопнув с досады кистью неуклюже по воздуху, предлагает ей в помертвлении губ руку и сердце. Заляпал пиджак.

”А Маруся пропала”, — сообщает ей утром нянечка Фарисеева. ”Какая еще Маруся?” ”Да кошка наша больничная”. Но Ане-то все равно.



Кошка так кошка; не человек. Она входит в сиреневую, для одного, палату и, смахнув со щетины обычную в этих случаях муху, гладит рассеянно пальцем костяной висок жениха. До свидания, Афанасий Трофимыч!

## НЕРВЫ

Какой нерв дернуть, такой и отзовется. Но вот дергает — каждый, а отозваться — никто; только воют и рывкают. Ну а если бы все на свете трепали как следует друг другу нервы, и чтобы не было рывканья, сплошное безмолвие, пусть даже малый скрежет зубов, — нервы тогда заиграли бы в нашей земной атмосфере не какой-то вечной юдолью, а музыкой высших сфер, как арфа Веры Надеждовны Дуловой. Ну а если и Дулова с ее арфой сомнительна, можно найти образец подходящий, среди неисчислимых, из дебрей древности, струнных ласкательных инструментов.

Один человек, Феникс Мундович его звали, но дело, понятно, не в этом, — он принял систему нервную за возвышенную и звездную и, вычислив кучу созвездий, от Центавра до Волопаса, составил на тумбочке гороскоп своего закадычнейшего приятеля, который, впрочем, скончался уже лет тому с двадцать пять. Приятель был как приятель, ничего за душой особенного. Но все вышло так точно, так в тютельку и без промашки, и он вдруг узнал о нем столько несбывшегося, пропавшего и развеянного, что стало ясно, как на голый ладони: второй, капля в каплю, Гете. Не Марко Поло, не Тамерлан и даже, прямо сказать, не Солон, а именно Вольфганг Гете. Ровно второй по счету.

Странное дело. Но и странные люди. Не знаем мы еще своих безграничных возможностей и нервически-музыкального перевоплощения.

## ДУЭТ

”Люба, а Люба!” — бормочет Петр Ильич. И Люба тихонечко откликается: ”А-я?” Но Петр Ильич потерял свой вопрос.

У Любы сегодня праздник, а у Петра Ильича — похоронный день. Его надул хитрюга-продавец, и, повстречав на площадке Любу, Петр Ильич напросился к ней в гости.

Люба смеется, но этот смех не слышен, как и Любины украдкой мысли, где она по секрету называет Петра Ильича Чайковским, потому что он нервный и по пустякам обидчивый.

Любина голова похожа на приглаженную обезьянку, а Петр Ильич бородат, как скиф. Ничего общего между Петром Ильичом и Любой, кроме лестничного соседства, но Петр Ильич положил ее, худышку, на кровать и водит по ней толстым пальцем, и мурлычет ей песню.

У Любы праздник народного урожая, который ничего не говорит впечатлительной душе Петра Ильича, и он обижается на праздник министерства за то, что хотят отнять у него обезьянку Любу.

Петр Ильич не располагает своим временем, оно само швыряется им вздорно и как вздумается, перенося с похорон на чужую радость. По ночам его мучат слова, и он записывает их подряд в

синюю с желтой каемкой тетрадочку. Любина радость для него удивительна.

Песню теперь он мурлычет тоскливую, но пальцем водит по Любе весело. У них пойдут дети, думает Люба, и выросшие без помех сыновья будут только фигурой похожи на Петра Ильича. Их смысленные мордочки станут известны стране.

”Как же выбраться из единицы с четвертью?” — думает скверно Петр Ильич. Он качает в такт песне недоумевающей бородой и, видя, как в зеркале, породу Любы, досадует, этаким скиф, что так трудно найти общий язык с животными.

Но весело бежит по обезьянке палец, и солнце кувыркается сквозь занавеску по подушечке. Нет таких вещей у Петра Ильича в конуре, и умница Люба догадывается, хотя Петр Ильич, бирюк, ее никогда к себе не пускает.

Петр Ильич — исторический человек. Петр Ильич вычисляет циклоиды времени и, нащупав число двенадцать, выходит на улицу в терзаниях мысли: когда же все это кончится? Но с Любой ему делиться нельзя. Ведь бьют за такие мыслишки по пальцам, а Люба — куда там, вовсе былиночка. И на что ей концы?

Кожа у Любы слабая и просвечивающая, а у Петра Ильича — прошитая дратвой. Да только Петр Ильич как без кожи, а Люба, тихоня, — как черепаха. Любина книга жизни пуста и загадочна для Петра Ильича. И все же в скрытницу Любу дверь ему на один такой взгляд приоткрыта.

Смотрят мимо глаза Петра Ильича, и Люба берет его лапкой за палец, не зная в растерянности верных чувств, куда его подевать и зачем он,

толстый, мешает. У нее под ресницами выражение праздничной обезьянки.

Остановился в движении Петр Ильич и, глядя нечаянно в нужное Любино место, клянет безобразно свой полнеющий возраст. В груди у него скачут зайчики, но он не дает им, бродягам, ходу. У Петра Ильича в груди темный шкаф, от которого ключ, может быть, спрятан у Любы.

Всякого Петр Ильич навидался. Как Любе понять, о чем он поет? Ее песни выпрыгивают из распахнутых окон, где цветет на окраине бесстыдно черемуха и кишат без памяти о пешеходах стрижи. Петр Ильич — человек ночной.

Забыла Люба о празднике урожая и смеется неслышно при звуках песни Петра Ильича, которого называет в тайных мыслях Чайковским, потому что прочла она такую книгу, где все сказано как есть о Чайковском, и его плачевной музыке, и загубленной жизни.

Петр Ильич и впрямь часто сиднем сидит на концертах, а Любу туда не заманишь калачом. Ничего общего между Любой и Петром Ильичом, кроме лестничного глупого соседства и сегодняшней капризной минутки, которая свела их, толком не объясняя, вместе и бросила рядом в Любиной комнате на произвол бесчувственной судьбы.

Так что водит опять Петр Ильич по обезьянке пальцем на зло праздничному, в огнях, министерству и на радость Любиным проверенным друзьям. Но куда смотрят его непутевые глаза и зачем прячутся от них по дурости Любины? Туда глядят глаза Петра Ильича, где не видно в дымо-

ходной трубе ни начала, ни конца, и потому скрываются от них близорукие Любины, что не нашла капризная для двух минутка единственно общего в этом, чтоб он сгорел, дымоходе животного убедительного языка.

Такое особенное состояние называется по праву дуэт, и невозможно сказать с достоверностью, какая тут скрипка первая, а какая — вторая. Два разных голоса, не умея или не в силах соединиться, ведут порознь каждый свою точную партию, но двухголосье от их мнимой разобщенности не страдает ничуть, и даже очень еще напрашивается допустить, что оно куда выразительней вдруг сливающихся голосов, которые так или иначе в один прекраснейший день начинают, как дикий медведь, реветь благим матом.

## БЛУДНЫЙ СЫН

”Сходи-ка, Федя, за хлебом”, — говорит папаша. И кривоногий Федя покорно слушается, а придя в булочную, лапает батоны, ища бессовестно мягкий и податливый, а покупатели вопят на него грубо, как зарезанные. Федя пугается ненужного крика и шустрит зайцем к выходу, но у кассы его твердо задерживают и обыскивают насквозь. Найдя перочинный огрызок в кармане, его невежливо приглашают в участок, где намечается легкое обвинение в краже и мелком хулиганстве. Капитан объясняет ему права и обязанности. Федя хлопает глазами и говорит ”фу ты”. Входит дядя живее живых в картузе мятом и с клинышком. ”Товарищ В.И. Живей-Живых, — жалуется капитан, — как найти на них управу?” Федя опять же говорит ”ну ты”. А товарищ, мол, В.И. Живей-Живых отвечает без возражений: ”Ножки гнуты! Сгноить!”

Федю приговаривают к пожизненной каторге в собачьей будке. На будке висит семизначный номер. На Феде номера никакого нет, но зато есть цепь с громкой привязью, потому что Фебина участь — гавкать с пристрастием и гроыхать в назидание. Кормят его сытно, но все же не питательно. У Феде начинается псиный авитаминоз. Ветеринар делает ему сомнительные уколы, но в эту

историческую минуту товарищу, мол, Ж.-Ж. с картузом указывают сигаркой на дверь, и Федину цепь выбрасывают в археологический музей.

Федя бежит, ковыляя лапами, домой, где встречает его шепелявый и несколько тронутый папаша. "Вернулшя, блудный шин", — говорит он обиженно без помощи отгремевших зубов, и Федя больно бухается ему в ноги. Тут он замечает, что ноги у папаши босые и мелко поросшие мхом, а запущенный пол вокруг цветет лютиками и крапивой. Федя драит заботливо папашины ноги бархаткой и, усевшись за призрак стола, выводит корявыми буквами объявление о чистке жилища.



## ПРЕДРАССУДКИ

Крыса Пеструшка укрылась в заброшенном кухонном шкафчике с разной ненужной рухлядью. Там вела она образ жизни строгий и размеренный. Но поскольку о крысах слушать не любят и к ним испытывают отвращение, мы о Пеструшке распространяться не станем. Заметим только, что она и впрямь была похожа размерами и окраской на бурую корову, потому что привыкла к солидному питанию, а на кошек смотрела без страха и боязни. Однако не знала Пеструшка, что живет в ею избранном доме невероятный охотничий пес, которого узкая специальность ограничивалась погоней за полевыми крысами. Не брезговал он, простак, и домашними. Опустим детали, чтобы не смущать гадливого читателя. Дальнейшее, скажет он, очевидно. Нет, не совсем. Крыса Пеструшка еще успела сожрать накопившуюся в шкафчике рухлядь и тем самым очистила дом от непотребной скверны. А охотничий пес Федот, потому что так его называли хозяева, заболел в это время бубонной чумой и, недолго промучавшись заразной болезнью, был похоронен на близлежащем кладбище. Хозяева, Люля и Музик, даже памятника Федоту не поставили. Так что не все предсказания сбываются как положено, и на любую старуху находится соответствующий

шая проруха. Говорится это к тому, что человеческие отращения бывают дешевыми и ошибочными, и, если захотите услышать о настоящих подвигах Пеструшкиной жизни, мы готовы к ним возвратиться подробно в следующий раз, когда вы избавитесь, драгоценный читатель, от бредовых предрассудков.

## ТАЙНОЕ

Фелиция Фуксовна, тридцати с малым и с крылышками-блондинетками, сделала Гуньке колющий цивер. Гунька смеялся. Тогда Фелиция Фуксовна потащила его, ясноглазая, на кандейку и вонзилась легонечко в зус. Гунька перестал смеяться и отбивался нехотя худыми лавчонками. Фелиция Фуксовна, синяя глазами, закусила удила и нащупала левый прибожец. Гунька закатил лизы и давекал туго, с причастиями. Вошли фифы и фафы...

Все это рассказал в подробностях журналист Кетин, проникший в гнездо. Из Гуньки сделали прямо-таки святого, а несчастной Ф.Ф. вколотили в могилу кол. Фифы и фафы же, как всегда, остались в сторонке и, наведываясь для сомнительных целей к могилке, похохатывали над ней ядовито и каверзно.

## ВРЕМЕНА ИЗМЕНИЛИСЬ

Гоголь ел моголь. Очень, очень вкусно! Приходит Хлестаков. "Садись, голубчик, сейчас доем". Хлестаков облизнулся и хотел было прихвастнуть, чтобы угостили, но Гоголь показал ему желтый язык и погрозил пальцем: "Сиди смирно, мертвая ты душа". И Хлестаков, весь в блестящем, притих, как мышь.

У меня было в кармане два старых рубля. Я купил за рубль сорок такую машинку, где вся эта картина происходила зримо и строго без преувеличений если нажимали на зеленую кнопочку. А если нажать на фиолетовую, писатель и его герой выходили из повиновения и начинали выделять такие безобразия, что даже стреляный мальчишка-хулиган приходил в ярость и разбивал вдребезги изящную машинку об угол стены.

Это было давно. Потом жизнь наполнилась нужными и совершенно излишними приключениями. Стоит ли вспоминать? Теперь мир пошел по иному, ускоренному пути, дети взрослеют рано, и такие машинки больше не продаются.

## КОТЕЛ

Голубя Яшку, не общипав, бросили злые дети из любопытства в котел. Они хотели там посмотреть, как смерть пойдет грызть его своими зубами.

Вот голубь Яшка в котле, не будь дурак, говорит: "Я начну закипать и думать, что зябну. Начну зябнуть мокрой курицей и помышлять соколиком об огне поднебесной. Начну в поднебесной полыхать заживо и спущусь полумертвый в ледяной океан. Стану плыть в океане вихлястым корабликом и ступлю на высохшее твердомысленной ногой. Разыщу посуху четырех злых детей и отвинчу им патлатую голову. Приставлю на ее место котел и сварю в нем с медком перловую кашу. Накормлю кашей добрых многочисленных детей и заставлю без нее камни грызть четыре придурковатых котелка. Грянет стужа в котелках или пекло, я не разведу в них обжигающий костер и не занесу их по колено сугробами. Я буду как выюга для тех, кто в шубе, и как печка для того, кто нищ босиком. Куда ни пойду, останется кирпич и пепелище. Куда ни гляну, побегут речушки и встанут кучерявые холмы. Казался птицей, а выйду рыскать волком. Любился с волчицей, а попаду под пулю с косулями. Лягу на

блюдо серебряное и встрепенусь при луне, допи-  
вающих напугав. Полечу к туче с шумом осино-  
вым и прикинусь в заоблачном тихоней, как бы-  
линочка. Надену шапку для лютого сражения и  
китайцем согнусь, раскланиваясь в халатике. Па-  
ду сморщенным, как желтый облетелый лист,  
и поднимусь горой для нелегкого восхождения.  
Когда вздохну "ах ты", харкнут на меня без за-  
зрения, и, если кликну "стой ты", повалят в рас-  
пахнутое жеребьячим табуном. Я наполню зал  
яшмой и золотом, и никто их не сможет уберечь.  
Попытаются схватить меня, и я назову себя неви-  
димым. Где спрятали левое, я выберу правое, и  
где гонят направо хлыстом, поведу рукой в ле-  
вую сторону. Станут тогда цепляться за железное  
и растекутся струйками в моей утомительной  
волне. Царство, ни на волос не ущемив, я сохра-  
ню в крепкой целости и разрушу на башне, кост-  
тьми построенной, царствующих. Буду с младен-  
чиком в люльке праздновать конечное и рассеи-  
вать по ветру их, взращивая неслыханное..."

И еще говорил Яшка столько и столько, что  
заговорил наконец кипятущие зубы смерти, а  
пытливые злые дети испугались вещего голубино-  
го слова и стремглав убежали в лес. В лесу их за-  
стала буря. У бури было много бысролетных  
крыльев, но не нашлось от нее стоячего приюта и  
гесного укрытия. Тогда злые дети стали горестно  
плакать и упрашивать голубя Яшку выпорхнуть  
обратно из разбушевавшегося котла. Они уже не  
могли исправить гадко и по-бесчеловечному сде-  
ланного, но вели себя, глупые, так, как будто  
время опрокинулось вспять. И вот тут-то они не

ошиблись. Глуповатые дети, казнимые неописуемым раскаянием, угадали то самое, о чем позабыли насквозь их некоторые отцы и совместные начальники. Голубь Яшка себя не заставил долго временно ждать и, проделав обещанное в далеком прошлом, передал детей из рук в руки тревожным родителям, а котел с замечательным кипятком вручил лично на память старейшему дедушке Петру Филимоновичу Гальперину. Пускай варит в нем добрых внуков, своих и чужих, и сам варится, если захочет, а детям злющим неискоренимо и в особенности отпетым начальникам, которые подали им нехороший пример, поступая так множество скверных лет с бедственными людьми, предоставит вывариваться в соку собственном других котелков, откуда нет больше никакого малейшего выхода, кроме как в зверские тартарары.

## СОБЫТИЯ

Лимонов ударил безногого по костылям. Безногий упал задом молча, и Лимонов, чутко прождав, не услышал человеческого отклика. Он плюнул с досады, губы обтер и вернулся домой в свежем бешенстве и терзаниях. "Старуха, — сказал он Сиракузе Денисовне, — дай мне стакан крепкой водки и кусок кровавого мяса". Сиракуза Денисовна всхлипнула и подчинилась без шума.

Безногий же профессор Колясников опоздал в итоге на лекцию. Он корчился некрасиво от боли, и притомившиеся студенты делали ему вскользь гнусоватые рожи. Колясников рассказал им в ответ, стеклянея, как в юности, от холодного гнева, расподлейшую историю Суллы. Боль в задку стыла тоже. Студенты тем временем состязались по воинским правилам в игре "морской бой".

Пока все это пожирало минуты в суматохе и пакостях города, ежик Курултай (монгол по происхождению) выстроил шустро себе в лесу юрту из облетелых шуршащих листьев. Они жались, усохшие и насквозь слепые, как худая скотина на холоде. Только один паршивый листок, который даже забыл свое никудашнее древесное имя, глядел, желтея глазами, в дебелое и беспробудное небо, тоскуя по женской воздушной ласке, еще так недавно, неделку-другую назад, овевавшей его на невинной, как пузырь младенчика, ветке.



## ОДИНОЧЕСТВО

Блошка Марьянушка прыгает на веревочке. Идет Василий: "Что ты, блошка, все прыгаешь?" "Потому, — отвечает блошка, — что у меня пузо чешется". Василий уходит.

Опять прыгает блошка и снова — на веревочке. Идет Ферапонт: "Что ты, блошка, все на веревочке?" "Потому, — отвечает блошка, — что упасть боюсь". Уходит Ферапонт.

Потом долго никто не идет, а у блошки язык уже чешется. Как подойдет, думает блошка, я ему тут же отвечу и оставлю на месте с носом.

Но никого больше нет как нет, и блошка Марьянушка, чернея от грусти, прыгает на веревочке до скончания века, потому что веревочка под блошиной тяжестью не оборвется ни за какие пироги.

## ДВОЙНИКИ

Бляшкин не удержался и вышел из себя. Тогда его молоденькая жена Анфиса впопыхах оделась и хлопнула дверью. На улице человек Сыромятников узнал в ней по ошибке известную актрису Пенкину. Он бросился, выгерпев минутку, эту актрису догонять. Настоящая же Пенкина отсиживалась на стуле у парикмахера. Заметив краешком глаза в зеркале своего двойника, она дрогнула и побледнела от страха. Тем временем мнимая Пенкина была совершенно бледна от бешенства. Она уселась сразмаху на соседний пустеющий стул в ожидании мастера. Вместо этого последнего, который выскочил на часочек за ветчиной, появился в зале патлаты от возбуждения Сыромятников. Притянутый непобедимым магнитом, он склонился над великолепной женщиной. Его отразившийся вид показался ей неприятен, так что она скосила глаза и увидела рядом собственного двойника. Лица, с обеих глядящих сторон, побелели добавочно. "Не дергайтесь", — попросили над Пенкиной. Сыромятников, не будь дурак, посмотрел тоже. Он расплывчато извинился и бросился в туалет, где его моментально стошнило. Покуда он сливал воду, возвратился с мокрым пакетиком патлаты от рождения мас-

тер. "Для вас?" — спросил он фальшивую Пенкину. Не дождавшись ответа, он схватил ее за волосы, чтобы ловко упрятать их под блестящий колпак. Мастер тоже, не лыком шит, уловил соответствие лица соседки, но значения этому не приписал, поскольку близнецы в большом городе встречались, как семечки, на каждом плевом шагу. Мало ли кто забредет в парикмахерскую! В теле, правда, пронесся зудом свальный и неприличный позыв. Но мастер его, жуя, приглушил, когда набросился на рыжие космы. Тут появился освободившийся от завтрака человек Сыромятников. Первым делом он встретил над своей давней любимицей малого, с которым он был, Сыромятников, в копию, как две капли непрочной воды. Кто стоял над любимицей ближе к окошку, он уже не разглядел, так как схватился опять за живот и без промедления убежал в туалет. Там он освободился и от заскорузлых остатков ужина. Воду, впрочем, сливать не стал, потому что сделалось все равно и к чертям, лишь взглянула из зеркала позеленевшая рожа. Черного хода в парикмахерской не было; пришлось, хоть умри, возвращаться в зал... Когда зеленоватый сызмальства мастер, отложив щипчики, услышал робкий шорох Сыромятниковых подошв, он повернул туда голову, остановил ее в воздухе и перестал жевать. "Леля, — сказал он коллеге по щипчикам, — прости, Леля, но у меня закружилась голова". Неравнодушная к нему девушка Леля жалобу поняла неправильно и показала ехидство свободной от инструмента рукой. "Ты бы, Левушка, чем закусывать ветчиной, пе-

ченку свою поберег”, — отозвалась она, целя в душу. Но Левушка только хлопал глазами в попытке укрыться от нелестного образа. Настоящая Пенкина, воспользовавшись заминкой, оглядывалась вокруг, овца, в унисон с Пенкиной ложной. Они стали разом как прозрачная марля и начали бережно цепляться за сердце. Левушка же схватился за стул и сел на пол с лицом, сохраняющим недоумение. Оно выражалось одной рукой в гребущих над мусором жестах. Человек Сыромятников между тем застыл в косяке и строил гримасы. Расширенными зрачками он был пригвожден к своему наваждению, позабыв, заколдованный до смерти, о раздвоившейся прекрасной актрисе. Было тихо, и только две женщины дышали туго на стульях, распахнув осторожно настезь розоватый одинаковый рот. Тут-то Леля опомнилась, обвела взглядом место события и, оценив момент, понеслась к близлежащему телефону. Скорая помощь, к счастью, не слишком замешкалась. Когда Леля в дверь увидела выпрыгивающих из машины людей, она сидела на корточках, держа Левушку на всякий случай за шиворот. Сперва ей открылся довольно, как водится, невзрачный врач. Эта торопившаяся по свежему делу особа ничем от Лели, кроме белизны халатика (у Лели он был перепачкан шампунем и лаком), не отличалась. Те же брови и косенькие глаза, тот же нос в сторону, та же прихрамывающая, чуть байроническая походка. Одним словом, чистейший двойник. Так что Леля, поддавшись общему настроению, присела скромно рядом с Левушкой на пол и выпустила для начала из легких многозначи-

тельный вздох. Это не приостановило решительного в медицине доктора, которая насквозь гнушалась внешних сходств и различий, подходя к телу строго физиологически. Даже зеркальца не было у нее в доме. И тем более не смутило это двух по следу шагавших санитаров с носилками, пребывающих, Бебель Макар и Бебель Зиновий, извечными однойцовыми близнецами. Для этих весь мир испещрен был знаками равенства. Их натужный доисторический вид еще отразился в тусклом Лелином взгляде, когда под начальственные междометия доктора они бросились перетаскивать еле дышащие предметы в машину.

Перепуганная суматохой кошка Мариночка, худая и черная, как нутро дымохода, выскочила отдышаться на тротуар. Стояла ранняя, хотя и резвая духом, весна, и на тротуаре под солнышком еще полно было слегка зябнувшей слякоти. Так что Мариночка, обогнув грязноватую лужу, отряхнула одну за другой, по порядку, тонкие лапки на синеющем воздухе. Они завершались у нее внизу серо-дымчатыми подушечками, и точно такие же она заприметила издали на тротуаре напротив, когда оторвала глаза от земли. По мере того как глаза ее приподнимались, она обнаруживала и все прочее: от поджарой и угольной гладкости до встопорщенных усиков и ушей, оттеняющих нежный гуттаперчевый носик. Две одинаковые без различия кошки глядели одна на другую с двух сторон улицы равнодушно, не имея ни общих тем, ни интереса для разговора. Но так продолжалось лишь пять-шесть секунд. После чего Мариночка и ее живое подобие, чье имя, одна-

ко, нам неизвестно, спокойно направились — одна налево, другая направо, в сени голых веток, среди птичкина гомона, под набегающим изредка ветерком, — по своим нужным в весеннюю пору кошачьим делам.

## ХАРАКТЕРЫ

Никанора Иваныча, во сне или правда, взгляд приковала заводная машинка. Похожая на обрусевшую китайночку, она застряла на слабом ходу в облаках, потеряв где-то с воздуха, вместо левого башмачка, за диваном свой ключик. Кожа была над грудью у нее гладкая, как молоко, потом следовало, как намек, углубление, а ниже, чтобы крепче томить, — врачебный и еле застегнутый белоснежный халатик. Она, стоя прямо, с увядшей пружинкой внутри, раздавала из рук пробегающим облакам тарелки с мороженым.

Никанор, по профессии переплетчик, Иваныч сделал быстренько для машинки сафьяновый корешок и на нем выдавил золочеными буквами: "Здесь живет Лиля Прохорова". После чего он открыл переплет, ступил в носках на титульный лист и устроился там полулежа в виде многозначительного заглавия. Лиля же Прохорова неуловимо скрывалась по делу в гуще страниц, порхая с одной на другую чистоплотной ласковой цифиркой. Много, должно быть, пыли, и непомерно сердечных забот. Никанор, между тем, Иваныч за хозяйку не беспокоился, алея раскидисто и щеголевато на веленовом по-старинному титуле. На губах у него холодел след мороженого с клубникой. Такое вальяжное без тревог ощущение пребывало в нем сладостно до той поры, пока чья-то

сестринская в манжете рука не подняла с полу голенький ключик и не вставила его стерильной иглой в книжную и заводную машинку. Тут суставчики дернулись лихо, и живые, тук-тук, колесики запетляли среди сгустившихся облаков. Никанор спрыгнул увальнем на обитую бархатом вязкую землю, а Лиля под номером двадцать пять убежала, бросив тарелки, греться к птичкам на солнышке. Ничего не попишешь. Судьба. Не сошлись, надо думать, характерами.



## ВЕРОНИКА

Надя Калабухина и Патрокл Агафоныч ели в тенечке уху. Надя — в сарафане, а Патрокл Агафоныч — в расстегнутом кителе. Жарко! Вдруг, откуда ни возьмись, на стол опустилась чайка и стала жадно поглядывать на дымящиеся рыбные миски. Как появилась в захолустном саду эта заядлая морская хищница? Об этом можно было только строить догадки. Патрокл Агафоныч скинул быстренько китель и хотел было накрыть диковинную птицу, но Надя Калабухина решительно воспротивилась, сказав, что, если так, ноги ее в этом доме больше не будет. Патрокл Агафоныч устыдился своего поступка и, попросив извинения за несдержанность, сел на прежнее место. С тех пор Надя часто бывает в гостях у Патрокла Агафоныча, и морская чайка, которую называли запросто Вероникой, наблюдает прожорливыми глазами, как соседская девушка и вдовый хозяин едят под развесистой яблоней вкусную рыбацкую уху.

## ВЕСНА

Ляля стукнула штучкой Федора по башке. У Федора выбежала нехорошая кровь и в носу показалось мокрое. Ляля своей работой любила, а Федор утерся платочком. "Ничего, — сказала бабуся, — до свадьбы заживет". Тут пришел дядя Кузя, разулся и запер на ключик парочку в шкаф, чтобы в доме блестела голубая посуда и стояла погробненькая тишина. Ляля в шкафу пожалела Федора. Запертый Федор полюбил Лялю. Бабуся нюхала каменную резеду, а дядя Кузя стриг на ноге лиловатые ногти. Выползли сумерки. Берегли электричество. Ровно в десять часов вошел бегемот, скушал бабуся, закусил дядей Кузей и, выпустив пленников на свободу любви, приспособился блошкой в тайную дырочку.

## ВАСЯ

У Васи кровь пошла носом. Дома пусто, бабка на базар ушла, а сестра Роза на клумбе прохлаждается. Что делать? Вымазал Вася полотенце багровым, а кровь к пальцам клеится, не унять. Пришлось и за простыню взяться. У хомяка Патрикеича — брови торчком; выставился между жердочек, воздух щупает, Васе удивляется. В первый раз увидал: не лесной, домашний.

Тут приехали пожарные. По ошибке не в тот дом бросились. Несут Васю к носилкам, а он еще в сознании, кричит: "Патрикеича спасайте!" Вызвался один, рыжий, смысленый, и зверька в сохранности Васе под бок на травку поставил. А Васе мало, еще сильней надрывается: "Сестренку Розу позабыли!" Рыжий Анипеев опять не растерялся: смотрят — в горсти стебелек зажат, и выносит он хорошенькую махровую розочку. Застыдились пожарные, потупились. Вася тут говорит: "Когда умру, положите мне ее, ребята, на сердце дышать". Так и сделали. Бабку ждали, ждали — пропала. Девяносто лет! Тоже, может быть, померла. Труднее всего оказалось с Патрикеичем. Простоял он в клетке у носилок до вечера, на цветочек поглядывая и о своем кумекая, а когда в траве потемнело и ненужный на отшибе дом понапрасну сгорел, Анипеев, не спраши-

вая начальника, решился забрать гаденьша в свое безнадзорное холостяцкое жилище. Отчасти для украшения и чтобы без женщины не скучать. Живое! И стал называть его в память мальчика: Васек Патрикеич. Но это совсем другая история.

## С ТОЛСТЫМ

Каждый раз, когда я читал о Толстом, особенно дневники и записки, мне хотелось так или иначе с Толстым пообщаться. Нет, правда, какой всегда острый, голый и неожиданный человек! Даже в дни, в приливы уныния и ветхой сонливости. Честно признаться, и его физиологические проявления интересны. Немножко по-особому и просто по-человечески. Не то что Достоевский. С Федором Михайловичем у меня, каюсь горько, никакого такого желания познакомиться нет. Он как-то весь в своих книгах, по ночам и против собственной воли. А так — ну, провидец, ну, где-то там ясновидящий, — но в миру серятина и насквозь брюзга. Бедолага, конечно... только без натуральной, на каждый день, поэтической ноты. Лишен. Да простит он мне загробно это выраженное неуважение, но куда же деться от правды? Некуда, как ни пыхти.

И вот приснился мне сон про Толстого, будто мы с ним на лошадях по лесочку верхом прогуливаемся и судачим о пустяках. Вдруг на тропинке в кустах вырастает пьяная рожа. Я было думал — гриб, а это и впрямь наглая и кирпичная морда. Сейчас, думаю, Толстой возмутится и начнет обличать расплодившееся в народе пьянство. Ничуть не бывало. "Ты, парень, чей?" — спросил

Лев Николаевич. "Да я, дедушка, из вашего же колхоза. Зарабатываю мелкой торговлей". "А читал ли ты, — говорит Толстой, — мои мысли мудрых людей?" "Как же, наизусть помню, — отвечает пьянчуга. — От Сенеки до Иосифа Виссарионовича Железнякова". У меня, сидя сверху на лошади, даже глаза на лоб полезли. А Толстой прыгнул наземь, вынул из блузы понюшку табака и протягивает малому: "На, понюхай. Это отбивает спиртной запах, и милиционер в случае чего не оштрафует". Я тоже спустился на землю и стал внимательно к разговору прислушиваться, чтобы дома в точности по памяти воссоздать. Но писатель уже окончил беседу, а мужик, сняв картуз, поклонился и быстро растаял в сыреющем воздухе. "Люблю пьяных, — сказал Толстой. — Что на уме, то и на языке. Не то что ваша плешивая интеллигенция. Будь я чуть помоложе, перестал бы читать А.П.Чехова и съездил на пару деньков в Эквадор". Тут он присел в задумчивости на пенек, а я скорей распростился и повел остывающих животных в конюшню.

Сон, конечно же, глупый. Как будто мало событий, да и смысла немного. Единственное: лес и прочее — в цвете, а Толстой — черно-белый. Сушная, признаться, ерунда. Но все, касающееся Толстого, до того поучительно и любопытно, что я решил этот маленький случай наизусть записать.

## ТУРГЕНЕВ

— Трудно мне, Валечка, — сказал Леонид, — и не пощадишь ты меня ни в малом, ни в великом.

— Почему же вы так думаете, Яков Алексеич?

— А потому, Валечка, что осень на дворе ранняя и сыплются листья на мою голову, а ты проходишь дорожкой узкой, рассеянной, слушая дальний крик журавля.

— Что вы такое придумали? И не стыдно вам, бедный Степан Парамоныч, жаловаться на мое бесчувствие? Вот мои белые-белые руки, и обе готовы вас приласкать, да только вы ежитесь, как под ветром, и руки пугаются колючих веток.

Говорили долго, и не было завершения тому разговору, пока не стал в дверях мальчик смуглый и как бы с колыбели обугленный и не сказал: "Папа, я хочу спать".

Взял его Леонид на колени и стал баюкать, точно кошку промокшую из кустов, а шторы покачивало от сырости, и Валечка стояла лишняя, неприкаянная, с застывшими без звука глазами.

Снег повалил, засыпал дороги. Никто не вынимал газет из почтового ящика. И когда его раздуло бумагой до неприличия, постучал в окно замороженное старик в тулупе волчьем и с наклеен-

ной бородой. Он не искал ни пружины, ни кончиков этой истории, которая звенела у него по ночам в ушах безумолку, а стеклом подребезжал тихо-тайно, чтобы проверить на выдержку стены, отгородившие этих троих от бесстыжего, мышье-го, на сизо-лиловом вдруг дымчато-красного и понапрасну из-под фуражек сверкающего, какое морочило постылым днем.



## КУРОЧКА

...Вообразите, совсем почти не обедал и потому, если теперь эта курица, как полагаю, уже не нужна...

*Петр Верховенский – Кириллову*

У Пелагеи Егоровны пропала во дворе без вести курица. Еще утром прохаживалась рябенькая, с жиру не бесясь и поклевывая прибрлудные зернышки. Да вот уже с полдня как ищет Пелагея Егоровна запропавшую беженку и в амбаре, и в комнатках с марлевыми занавесками, и по разным темным дворовым закоулкам, а все напрасно: нету хохлушки, как будто свинья ее съела. И у свиньи Матрены Пелагея Егоровна спрашивала, и у кудлатого пса Трофимыча на гремучей цепи — никто ничего не знает, и про Алену курочку, честное слово, с рассвета не слыхивали.

Пошла Пелагея Егоровна к местной гадалке старухе Филипповне. Филипповна за вишенной скатертью, ростом с карлицу, поднатужилась и, заметив у Пелагеи Егоровны зажатый с трешкой кулак, взглянула над ее рыжим причесом строго в неразличимую даль. "А скажу я тебе, Пелагея, страшное, — выдавила она из себя будто бы через силу. — Готовятся на земле черный мор и огненные железные кони. (Тут Филипповна помолчала и сморщилась в хитром зрении, как пече-

ное в духовке яблочко.) Погоди. Кулак-то свой не разжимай. Ну, вот... Враг навалится грудаминевьсть откуда, а лицом — заваливающий, а телом — дымчатый и никакой, и обманный. Будут снимать люди ружья со стен, да стрелять-то им не в кого, и пропадут даром выстрелы в дремучем костре, как хлопушки на холоде. Упрячутся знатные и кому бегать не лень в продырявленные свербилами ямы, только ямы-то эти погробно хлопнутся, чтобы сопреть в них могущим и прытко шустрым и взошло бы из загребущего глаза чертополохово под спудом семя. Станет на голой земле смутно и пасмурно, как без детишек зимой на иссинем озерном льду, и разбежавшиеся в потьму тараканы не удержатся на скользоте ногами. Не людей будет жалко, сгори они пропадом, а песка смятого, ветку гнутую и осиротевшего без присмотра зверья, потому что оставшаяся кой-где скотина изголодается по человеческому верному слову. Пойдут врозь томиться слепые и неумытые, пока не пронизется оно свежей былинкой сквозь корку и не подскажет им сызнава, в какой пещере сердце лихое забилося по высшей и допотопной любви, а в какой — стынь и оторопь навсегда без чаемого потепления... (Еще помолчала Филипповна и посмотрела на Пелагею вкось, как на пустое и суетное место.) Что же ты горюешь, глупая, по своей Алене курочке, когда подыхать ей — дело решенное, и не лучше ли — сей же час под кухонным ножом, в одиночестве теплой от ее крови руки?”

Пелагея Егоровна немного помялась, выложила чуть подмокшую трешку на стол и ответила

прямо, с неуступчивой грустью: "Я пришла к тебе, Филипповна, спросить не о том, что будет завтра неотвратимо, а о том, что есть для сегодняшней жалости, которая временно во мне еще дышит. Скажи!"

Филипповна сырую бумажку со скатерти прибрала и ради скудеющего на свете приличия опять помолчала. "Ладно, — смирилась она изменившимся голосом, — как, Пелагея, хочешь; тебе решать. А находится твоя Алена в доме у нашего поселкового лейтенанта Телятникова. С ним и разбирайся".

Пелагея Егоровна на том и пошла. Телятников, испугавшись ее твердокаменного лица, отпираться не стал и вынул, не обжигая пальцев, вареную курицу из алюминиевой кастрюли. Потом он обтер эти жирные пальцы мочалом, а Пелагея Егоровна завернула Алену молча в чистенькое полотенце и, отнеся ее на огород, захоронила под общим крестом с изнемогшей в голодный год дочкой Манютой. Свирепые гуляли тогда времена при усатом на портретах батьке, и приколотил дочурку за украденный для еды колосок пьяный сдуру в дороге объездной начальник. Не забывала Пелагея Егоровна убитую девочку, не забыла она теперь и зарезанную Алену, так что сиживала нередко над грядками, чуть в сторонке от продаваемых овощей, где украшала то помидорами, то редиской бледный холмик единокровной могилы.

Однажды, поближе к осени, забрел к ней без видимой цели из областного города двоюродный племянник. Вышел он когда-то из поселка в не-

доучившиеся художники, и вот теперь ей рассказывал, различное знающий и бородатый по-городскому, какие страхи и ужасы клокочут в котле большого, простирающегося за колючие границы мира. Пелагея Егоровна ему в такт лишь кивала перепуганной до изумления головой, хотя и сама об ином догадывалась, заглядывая у пожилого соседа-учителя по вечерам в утешающий и успокаивающий одних дураков телевизор. Потом стало не о чем особенно говорить, и Пелагея Егоровна, посмотрев на уставшие виснуть кленовые лапы, вздохнула: "Вот и солнце уходит. А милые спят". На что молодой человек призадумался, повторил глухо шепотом: "Да, уходит, уходит..." — и ответил рыжеволосой тете стихотворением, которое произнес как-то раз шалун-мотылек лившему его шелковой сеткой мальчику. Этот веселенький среди цветочков зверок втолковывал нежному, как и он, бедокуру радость короткой порхающей жизни и просил только, чтобы, не тыча в душу сачком, тот позволил ему упиться до дна единственным в месяце мае на звонком солнышке отпущенным днем. Больше желаний у него не было. В заключение он предсказывал о себе мальчугану:

*Постой, оно уйдет, и блеск его лучей  
Замрет на западе далеком,  
И в час таинственный я упаду в ручей  
И унесет меня потоком.*

Давненько не слыхивала Пелагея Егоровна такой шиплющей по глазам красоты. И до того

полюбились ей сразу эти пронзительно откровенные строки, что, не скупясь на рубли и не заботясь к ночи о будущем, она уговорила племянника высечь их намертво на сером камне в память о сгнивших под зеленью любимых косточках. Племянник, впрочем, беден работой, тетину просьбу уважил без споров и ради песни искусства потрудился на славу. Там он высится, этот камень, и по сию грустную пору, в чем легко и свободно может удостовериться каждый — пока не сбылось напророченное старухой Филипповной — случайный бродяга.

## ИСПОВЕДЬ

*(включается по просьбе автора)*

Моя мечта была — в твоих глазах, Кормышкин, сойти за пунктик помешательства. Ты был взрослый, как белая паля, а я — шустрый и гладенький, и полутолстый, как без ущерба на свете лишний еще один в тысячах баклажан. У тебя ведь, Кормышкин, пылали в голове мечты и ранние мигрени, и я это угадывал обжигаящимися на лету ресницами, когда ты маячил, воткнувшись прямо, у вечерюющей из-под кленов стены, а мы бегали, Туточка с Таточкой (так называла мамаша), визжа и царапая криками воздух. Я, паля, вижу тебя до тех пор, пока двор не усох и не съезжился, как смутно вылинявший картон, и мы не разъехались каждый в свои голубые концы, чтобы стало и правда будто телу просторней. Кто был Туточка, кто был Таточка, этого я не знаю, потому что и мамашу затруднюсь вспомнить, так быстро вышла она из моей теплой близости в грядущее неповинных людей. Теперь же, Кормышкин, мне любопытно до зябкой шекотки в груди, что бы ты этакое выдал и выпалил, если бы вдруг, на том или нынешнем свете, обнажилась тебе внезапная тайна моей слишком поздно разорвавшейся души. Оттого что я рос каким-то заброшенным в чертополох гордецом, и ты единственный, белая паля, мог бы правильно оценить

беглость моей несговорчивой мысли и спертые воздыхания по теперь сбывающемуся. Скажи мне, Кормышкин, как только прочтешь это пушенное на волны признание, жив ли ты еще или давно сгорел во всеобщих передрягах и повсеместном разгоне гудков, паровозов и странников. Мне печататься буквами негде, кроме собственной и себя осознавшей груди; но это ничего не значит, и если ты откроешь мне свое белое присутствие в каком-нибудь пусть лишь едва достижимом сапожнику мире, я приложу все пропащие силы и отверженные сапогами усилия, чтобы сам донести до тебя, ну а через тебя — в тот когда еще скуксившийся и померкший от утери барахтающихся детишек наш двор, для любого и всяческого, кто выполз оттуда на горестный стыд и позорище жизни, — мое упрямое в тайники сокровенно, которое я, оказалось, пронес как играючи и без напрасных, ударяясь под дыхало, охов в эту прощальную осень рассыпающегося на песчиночки мира. Ответь же, прошу тебя, белая паля, надумай, Кормышкин, пока не поздно, — и ты не ошибешься в своих, быть может, давным-давно отпылавших под стражей и густолиственной проволокой ожиданиях.

## ДРЕВО ЛЮЦИЯ

Бритоголовый арестант Гусятников решил покончить с мучительным настоящим и обратился из кельи со слезливым письмом к давно не слыханному по репродукторам вождю народонаселения. Вождь находился в многолетнем отпуске, где грели его со всех сторон паяльниками и смазывали по худым бокам гуталином. Письмо бритоголового Гусятникова оказалось таким жалостливым, что проложило себе верную дорогу сквозь густопсовые бюрократические рогатки. Вождь народностей, оторванный от любимой собственной страны, читая его по складам, безутешно заплакал. Он попросил к себе главного опричника Фому Студеняпина, который тоже считался в отпуске, но продолжал служить тайно на пользу общему делу. Согласились Гусятникова вызвать к жизни ради укромного разговора. Требовалась от него только голая истина и больше никаких гвоздей. Но сколько ни жгли ему пятки для выяснения чистосердечной правды, Гусятников закоренело стоял на своем и каялся решительно в былых позорных делишках. Пока Гусятникова легонько пытали, вождя народов под руководством Студеняпина мытарили для лечения паяльниками и гуталином. Тем самым выходило странное и прямо-таки явственное соответствие. Личный повар народного вождя Халупа рассказал об



этом под одеялом своей доверительной приятельнице Марьяне. И даже больше того. Не вырвав у Гусятникова обманчивого признания, ему позволили отрастить копну волос, назначив управляющим казенными складохранилищами нижнего белья. А измочаленного вождя населения продолжали врачевать зверски, лишая руководственно-го слова по репродукторам. Поварская хахальница Марьяна, выслушивая под верблюжьим одеялом новое и новое, стала без разрешения болтать на ухо лишнее своим мелкотравчатым родственникам. Не успел Студеняпин об этом тихонько дознаться, как прельстительная новостиска уже облетела шепотом городские сборища. Народ, ко всему притершийся и кропотливо обученный, вздумал, однако же, неприязненно и помаленьку роптать. Зашевелились шпионы. Пошли по нужным каналам донесения. Какие-то сквалыжные пророки гундосили в подворотнях немислимсе, продавая клейменое тряпье втридорога. Неверующий Фома Студеняпин вышел из отпуска и решил навести распорядок единственно вообразимым, но всемерно удовлетворительным путем. Он пригласил к себе в служебную баню двенадцать отъявленных молодцов, которым, пристально осмотрев их в дебелом и устрашающем виде, велел подкрасться тишком к баламутящей очереди и секирами изрубить на куски разных визгливых баб и подкалдыкивающих мужичков. Пускай остальные видят и поспешно научатся уму или разуму. Но тут, на беду Студеняпина, получилась осечка. Нет, ребятки, конечно же, пошли бодрячком и, как водится, не оплошали. За-

то вылупилась в колбасном хвосте, исподтишка наблюдая, девушка Феня, которая без дураков доводилась юнейшей племянницей личному повару вождя Халупе. Она не буянила визгливым голосом, глядя смирнехонько из-под опущенных ресниц, и поэтому добрые молодцы не оттяпали ей свежую голову, а только порезали мимоходом, где плечико, под белым платьицем сустав до кости. В мозгах закружилось, и Феня ойкнула. Но о Фене лучше потом... Стук же стоял вокруг девицы такой, что высунулись из пыльных окон многочисленные, всеядных обличий, соседи, присматривая за действием любознательно и, возможно сказать, не без дьявольского злорадства. Не говоря уже, понятно, о том, что освободившиеся продавцы, все до единого в белоснежных, исписанных мусорными пятернями халатах, высыпали на двор гурьбой для наружного дружеского обсуждения. Однако прибывали мало-помалу и прочие интересующиеся зрители, так что стало уж слишком тесно и даже вовсе загадочно, кто без любви кого рубит и по какой такой братоубийственной причине. Ввиду этой тягостной сердцу невразумительности подогреваемая слушками толпа начала бестолково покрикивать в лицо вредоносное и не особенно приличное для детей. Пошли в ход страсти и лозунги. Требовали в открытую без прикрас возвращения залеченного донельзя истязателями и прихода к заслуженному наконец по справедливости знаменателю. Пустились вспоминать и закулисного Гусятникова, которого надо-де за пропущенный обман высечь набухшими от слез розгами и, в противо-

положность неповинному вождю, повесить без нудных слов на высоком железобетонном столбе. Уже принес кое-кто и надраенную в обмылках веревку, но тут Студеняпин выслал предупредительно стаю гудящих орлов и строевую, на скрежетном гусеничном ходу, колонну медведей. И хотя взбеленившийся народ не унимался и бушевал кипятком серых волн, не находя преспокойного берега и домогаясь воспрянувшего из лютой немощи, история так бы и кончилась ничем, за малым, разве что, вычетом нескольких безголовых трупиков, но в числе высунувшихся на улицу очутилась простоволосая Фенина мамаша, которая, не долго лясы точив, побежала без оглядки жаловаться своему родному и кровному братцу Халупе. О чем они по-семейному беседовали, еще поныне известно лишь на троечку с минусом, но только Халупа, не имея близкого доступа к оторванному от единственной любимицы, стал умело шептаться со своим закадычным дворцовым официантом Гречишкиным. Этот пройдоха Гречишкин знал превосходно вкусы вождя, и кого он ест, и какой всячиной его побаловать, и каким словом невзначай приласкать. Обогретый паяльниками и смазанный дочерна гуталином, народный вождь в эту минуту кушал жаренного в тминном соусе бобра с фрикадельками. Эта приятная для еды минутка располагала его к случайным разговорам о пустяках. Поэтому Гречишкин ловко набормотал ему подслушанное, и вождь населения, ошалев на миг в одиночестве от случившегося, вышел из оцепенения и воззвал к беснующимся по репродукторам. Бы-

ло им объявлено, что народы и народности сплошь его, вождя, братья и сестры и что, раз это так, зачинщикам предлагается честью и волей добросовестно утопиться в болоте, а безгрешным зевакам — снабдиться засовом в ларьке, чтобы никто им пятеро суток поста не мешал клясть себя в неосознанном и, быть может, на горизонте забрезжившем. Тут побоище на один плевый срок остановилось в пути, и спущенные с цепей звери запнулись, как вкопанные, но так продолжалось недолго, поскольку в толпе решили по-своему и без всякой господствующей задней мысли, что их надуют подло и бессовестно, предлагая им вместо хрипа вождя бархатные раскаты известного оперного запевалы Симеона Прямых. В это самое время, при возобновившемся напоре бунтующих, Фенина мамаша и сестрица Халупы моталась по городу, не чуя конечностей, безнаказанно, и прохиндей Гречишкин узнавал таким образом через своего приятеля необходимые к сугубой выгоде новости. Когда ему удалось уже хитроумственно застрашать вождя за бокалом глинтвейна, вождь народностей и народов потребовал наконец главного опричника Фому Студеняпина, который заявил без лишних обиняков, что раздавит гидру и гадину, если будет позволено, в два поминутных счета, но что еще лучше, для окончательного упокоя, чтобы вождь собственноручно показался на своем балконе, украшенном мастерски плющом и глициниями. Вождь подумал и выступил осторожно на шатающийся под грузом бутылок балкон, когда толпа уже достигала астрономических в земном измерении ве-

личин. Сперва народ ахнул. Потом пробежал по нему, как в безветрие, тихий ропот обиженного недовольства. На сей раз, стали говаривать, прощельга Фома уж слишком переборщил: он вывел им на потеху и глумление любимого псевдокомического актера Барайкина, которого — ничуть не смешно! — загримировал сивым чубчиком под вождя. Видимо, движут им, Студеняпиным, какие-то секретные и двусмысленные пружины, которые передаются своими вывертами насквозь доверчивой и беспризорной истории. Нет, решили в остервенелой толпе, пора в этой самой истории поставить хорошенькую навечную точку. И визгливые бабы заодно с подкалдыкивающими мужичками стали швыряться в якобы перелицованного вождя заезженными булыжниками и ржавеющими железяками, а стая орлов и колонна медведей стояли торчком навтыжку без приказа в недоумении. Сметенный позором вождь удалился, разинув бессильный рот, в свои подвальные сырые покои, где мучительно долго читал по складам докладную вконец расходившегося Гречишкина. Так прошла голубая ночь, и никто не трогался с насиженного места, а в сизом небе горланили прилетевшие, чуя беду, с моря чайки. На следующее засветлевшее утро чиновники в незаметной мышинной одежде, выданной им под расписку для невидимости властей, расклеивали по городу прокламации, где черным по белому было сказано и начертано:

1) Что после нелегкого сердечного приступа Студеняпин заколот кухонным ножом в лечебнице по приказу вождя;

2) Что голова Гусятникова всецело готова для употребления в петлю и ожидает только ответа законного мстительного суда;

3) Что учреждается еще небывалый порядок, так как Гречишкин становится заправилкой опричников, а его приятель Халупа, сняв передничек с колпаком, принимает бразды над казенными складохранилищами нижнего белья;

4) Что отныне (и это главное) вождя народов для правильного лечения будут прочно греть гуталином и смазывать насмерть паяльниками, допуская его год от года к истомившимся музыкой репродукторам.

Разгулявшийся навеселе народ обнимался, братаясь, с медведями и орлами. Посрамленные чайки улетели домой. Было побито множество ценной посуды, и в очередях, предводимых бабами, похохатывали с ветерком, рассказывая непечатные анекдоты про Студеняпина. Больше же всех ликовала хахальница Марьяна: мелкотравчатые и бесстыжие родственнички выклянчивали у нее теперь изяшное *дезабелье*, и она кого жаловала, а кого посылала к бабушке.

Но завершилось всеобщее торжество достойной по блеску расправой с побледневшим негодяем Гусятниковым. Били дробь барабаны, и грохотали проезжие тучи. Солнце проглядывало и упрятывалось стремительно. Несмотря на близящуюся с неба грозу дикие толпы маячили вдоль медлительного пути, где тащилась на казнь повозка с насупленным и обритым наголо Гусятниковым. Все было обставлено удивительно красочно, с гарцующей лихо в стременах кавалерией

и, как в песне, радующими несмысленных трубами. Феня с мамашей любовалась тоже, забыв о тягучей боли плеча. Мрачный Гусятников, сказать по правде, сорвался-таки два раза вниз из-за своего отъевшегося на свободе жира, но искушенный палач успел в третий, оставшийся раз накинуть ему шутя дополнительную с мыльцем петлю, которая для того и была кое-где кое-кем строго математически предусмотрена. Собравшиеся, не сдерживая понапрасну свой гнев, достаточно выразили громкие чувства, и поэтому казнь содрогнувшегося подлеца действительно вышла общенародной.

Случился, однако, мелочный и незначительный эпизод. Когда стыдная повозка тряслась под конвоем к месту своего назначения по запруженной улице девяностолетия вождя, какая-то застарелая дамочка в нахлобученном пенсне и цветущей, давненько выпорхнувшей из моды шляпке взобралась на чугунную, с узорами, тумбу и стала размахивать, явно и нагло спеша, кружевным и батистовым, чуть-чуть душистым платочком. Было ли это и впрямь ее слезное приветствие обреченному, или же просто дама в летах не умела иначе излить туманность своей осенней души, но только присутствующие до того вскипятились, что схватили уродскую бабу дружным скопищем за передок и растолкли ее, жабу, вдрызг, как ошметок непотребного мяса.

## МНИМОСТИ

У Пахома было четыре бурых коровы, а у Пафнутия сперли пятнадцать рябеньких кур. Влас имел по ночам в ногах одну злющую ангорскую кошку, которой соответствовали у Варсонофия пять зеленеющих попугаев, рассаженных совами по углам, чтобы здорово досаждать непрошеным посетителям. Пятый, впрочем, сиживал одиноко в подвешенной над графином на крюках клетке, составляя его, так сказать, тригонометрическое завершение, если конус графина под остренькой пробочкой вытянуть за уши до потолка. Но поскольку хрустальный графин на столе часто менял свое местоположение, строгие руки до него не доходили и он оставался по-прежнему беззаботно невытянутым. Зато вытягивалось всякий раз от смущения небритое лицо Константина, когда он поглядывал в угол на семерых прехорошеньких щенят, которых у комода на тряпочке след простыл со вчерашнего вечера. Стыл и лысый без шапки затылок Кронида, пока он считал, запрокинув голову, по порядку над крышами звезды в созвездиях, загребая их мысленно в свою детскую, в виде цыганки, копилочку. Одну какую-то Кассиопея уронила нечаянно в черную яму, и три астрономши в Гренландии, Сиаме и Абиссинии, по женской слабости черноте не веря,



пытались сквозь телескоп хотя бы зрительно со-  
вокупиться с молоденьким на небе, за неимением  
чего под рукой, антивеществовым телом. Тоже  
выдумали! Вещество оно или вовсе не то, а ввиду  
баснословной из учебников малости не хватило  
астрального тела и на трех куцых баб. Но с дру-  
гой стороны, его так распирало, что и без постор-  
онней влекущей похоти самого себя показалось  
вдруг невмоготу чересчур. Тогда, подавившись в  
паху своей галактической плотностью, оно сдела-  
ло в нетерпении ручкой проходим *бинг-банг* и  
разрядилось до непристойности юношеским, во  
цвете световых лет, фейерверком. У Кронида иск-  
ры посыпались из глаз, и он сел не считаясь пи-  
сать Апокалипсис. Константин сунул ноги в ва-  
ленки и, выйдя как перст помочиться к забору,  
увидал семь в строю шенят без прищепок разве-  
шанными вместо белья на веревке. Варсонофий,  
махнув рукой на будущее, отдал за бесценок пя-  
терых попугаев симпатичному с первого взгляда  
милиционеру Терентию. Влас под лоскутным  
одеялом от него не отстал, вскочив спросонья бо-  
сым и нечесанным и отнеся за плечами в мешке  
злую кошку в объединенное училище посмерт-  
ных космонавтов. Там атлетические до взлета  
курсантики, обглодав за общим бетонным  
столом пятнадцать Пафнутиевых кур, добирались  
уже до мороженого, но в эту минуту вышло на  
пару слов морзянкой сообщение, что молочно-  
сладкое при новых метеорологических условиях  
под расчет невесомости отменяется. Думали бы-  
ло послать за коровьим Пахомом, но того, про-  
хвоста, как ветром сдуло: укрываясь от обречен-

ного среди звезд государства, он закопал четырех буренок до наилучших времен под амбаром, а сам притворился синицей, посвистывая на безрезке.

В поисках Пахома милиционер Терентий накричался "ау" и охрип. Его уложили под номером 0 в больницу за номером 0013, где персоналу с грудью строго-настрого воспрещалось наговаривать больным чего лишнего о предсказанной Кронидом беде. Попугаи гуторили по соседству, но ничего, кроме сплетен из коридора и цен на чулки, интересующимся парами солянки сообщить не умели. Под их кривотолки, однако, больные сквозь сон обливались жаром, мечтая тайком о вольных лианах с плотоядно на них устроившимися инопланетными ящерками.

Астрономша гренландская, помешавшись на числах, вымазалась жиром и опростилась до неузнаваемости под шкурой среди охотничьих эскимосских мужиков. Астрономша сиамская, наоборот, при дворе была принята милостиво и, войдя первой женщиной в штат, бритоголово дудела за колесницей в поддерживаемый монашескими ладошками рог. Астрономша же абиссинская, от себя не отказываясь, валилась смуглявой тростиночкой на пол под расспросами с гиком да колотьем любопытного до живых вычислений армейского следователя.

Как-то ближе к рассвету, когда Терентию в помраченном от хрипа уме не спалось, присела к нему санитаркой в застиранное изголовье насквозь прозрачная девушка Кассиопея Бардо. Что она Терентию на подушку шушукала и каки-

ми байками ему дух пеленала, того не услышали ни дрыхнувшие по углам впотьмах снабитым ргом попугаи, ни даже пытливая за окном на веточке синица, которая и общий-то смысл едва ощупью не проворонила по шевелению губ. А только часок-два спустя, чуть больные в седьмом и кровавом поту поочнулись от лютых, под звероподобными хвостиками, лиан, одного из них в гуще тропических простыней на нужном к номеру месте консилиум не обнаружил, и ушедшая на поводочке с цепи в толчею эфиопов смуглянка, не успев еще подшутить над блохатым, Ньютона не нюхавшим поводырем, впопыхах уже ткнулась клюкой в осаждаемый за версту грамотеями спозаранку киоск, где и полюбовалась не глядя, с чужих набожных слов, лупоглазым в туманностях из рамки портретом своей давешней, под дых на полу, межзвездно-тюремной догадки. Тут-то звонко припомнилось вольноотпущенной и сказавшееся под армейскими тумачами в перепонках наитие, так что на мнимом без лупы свидетельстве астрономша с собачкой вслепую не успокоилась, а сквозь грохот оваций на утренней сессии по заслугам воззвала к вышеназванным с португепями, которые без воздержавшихся, кой-что наскоро по штабам обсудив, утвердили за новоприбывшей, вместо канувшей в небытие, звездой путеводное именованье Терентием.

Поздно было теперь гренландше колупать терпугом свежесвалыщиков наслоившийся кулебяками жир, а сиамнице, шваркнув монашью дуду, выхаживать заново для мирских сует пресловутые в растениеводстве косички. То-то поводов

стало, казалось бы, притаясь среди лотосов и подмоченных льдин, беспрепятственно с двух концов злопахать! Но хотя ни одна, по тростинкину случаю, в академиях перхотная голова их в сердцах не вспомянула даже по батюшке и дремучий на тропинке босяк ничего в них не высмотрел, кроме пим и сандалий, да завидовать по закону симметрии им пришлось в черном теле срок бабий и плевый, потому что свершившееся где-то в музыке сфер что есть духу без палочки в атмосферной глуши поросло закомуристым быльцом, а других соответствий оттуда сюда вычислительная на шарнирах машина, как ни билась в истерике, запятыми не выявила.

Одним словом, на голой земле никаких, вопреки звездочету без шапки, откровений Кронидовых с рогатым зверем под бульдозерами нестряслась. Сам он, правда, от мира ушел, купил из-под полы портативный "Триумф" и выстукивает на нем без оглядки сигналы в предвешанное издательство "Вечность". Его женской копилочкой наигрались цыгане, а звезды, испытанные на кованый зуб, порассыпались дешево по базарным лоточкам. Влас, Варсонофий, Пафнутий и Константин, о вечном за делом и не помышляя, учредили при посмертном училище кружок начинающих жизнь математиков, за которым скрывается от въедливых глаз неприглядная пифагорейская секта. Эти плодушие, говорят, всюду секты, буравами куда-то явно подкапываясь, невзначай эдак почву с верхов разрыхляют, да и понизу, выказав гниль, унавозят, но что ж, спрашивается, на свете в ростках, кроме сизых чубов, от них пере-

менилось, и кому же по-гоголевски, захлебнувшись в цветку, стало ширь видать во все ее кончики? Праздный вопрос! Впрок закопанные под амбаром коровы расползлись несъедобно без хозяйского взгляда, отнесенная кошка, мотаясь в скафандрике, понаделала злющих ангорских витков, молочково-астральное некогда тело всласть натешило перхотных и прогоркло в борщах, графин, не стерпев обид с потолка, заметался спиритом по ломберным столикам, забор от мочи по весне захирел, а к лету и вовсе прилег на веревку, покрыв семерых из дубильни шенят, попугаи без пятого, жуя мох по углам, опочили в халатах больничными чучелами, крюки из-под лишнего пригодились на слом для приснившихся немощным бегемотовых туш, персонал с грудью зачастил к цыганам, цыгане попрятали кур от курсантов, а синица, погрязшая за окном в кудерьках, знай синичит, заждавшись, свое рассиничье, пока крылышком в дождичек не взгрустнется ей вдруг по сбежавшему от повторения сроков и нечитанных, тычась в хвостики единиц, хрипов лютой без отголоска жизни милиционеру.

**II**



## ГДЕ ТОРОПИЛИСЬ ПТИЦЫ...

где торопились птицы на убой  
ночной приказ как есть остановиться  
я спутал в гневе ласточку с тобой  
и в бешенство загнал перепелицу

ложились крылья жертвенных румян  
но знал ли я откуда брошен вызов  
какой вскипел из туч комедиант  
на жизнь плевать как с пропасти карниза

скажи о чем когда злосчастье рук  
вдали несет по лихолетью джонки  
синеющее в прожелти старух  
поет глухим срывая перепонки

не нам ли в хлев набившийся приплод  
с тобой без сна как в жилу побрататься  
чтобы заткнуть нетопыринный рот  
поэзии ночного святотатца

покуда глаз встречает птиц молчком  
и выполнен приказ молчать берданке  
тебя держу как в горле снежный ком  
и по сердцу твои елозят санки

зима уйдет и пропадущих слез  
расчистит блажь исклеванность рассвета  
найдя для тех следы опавших звезд  
кто это знал и вымолчал об этом

*29 марта 1980*



## СПОКОЙСТВИЕ!

я гляжу спокойно и не верю знойным предчувствиям  
моя жизнь тверда и правильна в загогулинах гнутых и прямой  
рискованности  
семь лет волком меня черти дымчатые держат в клетке усми-  
рительной  
но уж так истончилась она телом ивовая до захлестывающей  
дух прозрачности  
(и об этом они злосчастные и не подумают и не догадываются)  
что сквозь прутья запросто ко мне нагишом входит девочка  
с тазиком до краев поднебесной

ну и вот я кладу на весы времен свое левое и свое правое  
и я вижу до боли щемит в глазах! что неправое перевешивает  
на чаше правое  
но казнить не вздумаю потому что в левом царствует пус-  
тота всякой пуговицей сверху обозримого  
и для вас она тьма нечистот и жгучий сердцу запрет пни-коло-  
дины стыдные и поневоле усмирительные

я вижу правильное взглядом белых слез и закрываю красные  
глаза на погрешности  
семя дымящееся знать не слыхивало о своей просвечивающей  
в синее безвозбранности  
где мне виден сквозь них как в стеклянное ах вы! тазик де-  
вочкин краешком в поднебесной радующего  
и не верится плюнь ты! землянистым предчувствиям которые  
сгоряча дребеденят мне балбесы о погибельном

семь лет немалый срок но бывают дальние тысячелетия  
и оттуда летит ко мне братик со дна голос забытого и съеден-  
ного и пещерного  
я буду жить твердо покуда есть нужный воздух для правиль-  
ного по тебе дыхания  
и не сгорело еще в моем срубе оставшееся для земли из пече-  
нок насытиться сбывшимися предчувствиями

приходите спокойно и не торопясь проверяйте засовы возлю-  
бленные камнелобых дверей  
я знаю как ополоумевший дурак что эта клетка ивовая и ни-  
какой вмешивающийся меня не переспорит  
я уравновесить хочу в этом честном преддверии свое левое с  
правым и точным острием  
и остаться один на один с посиделочкой и ее волчьим до край-  
них зубами концов сизым тазиком в ссадинах и шрамах  
поднебесной

## МОЯ НОЧЬ

ночь ты моя лестница где бормочу наспех  
за мной поднимаются вы кто мы с усами  
фармацевтическая дурь у меня  
и бегу я за юбочкой сраженный таблеткой

я бегу по лестнице и горланю чтоб ты  
тебя милый дудочка ан нет вижу бляшка  
восемнадцать на шесть ложки на дворе  
куда вы африканыч с лицом как у ястреба

твой прыщик лазоревый мне метла даром  
не нужна лакейская собачонка надя  
что ты руки кренделем член положил  
с гоп-апоплексическим приветом эн ленин

потому что ух ты жизнь пестрая блядская  
пожаловала вывертом в гроб с кистенями  
хочу знамя выкинуть в лоб паренек  
а они садятся бороды с усами

прижимают крышечку сугробы не езжены  
лыжи не чишены на душе тумба  
африканыч экий ты ястреб лицом  
куда подевал закадычного прохора

юбочка красоточка отвечай не кобенься  
ночь моя дудочка ох птичка величка  
восемнадцать насмерть в колбу засадил  
африканыч прохора гвоздя кобелями

ну-ка стервы да здравствует алюминий светик  
напрасно занимаете очередь к товарищу  
паралитическое настроение у меня  
из разэтакой в колбу к лешему согласный

из такой унеси меня лестничной коптелки  
восемь на шесть чучело я весь твой даром  
не нужна мне заморская ваша в пику мать  
хоть сгори она тумба соловецким пожаром

больше некуда вьюшечка ой жмут сапоги  
забери мигом вижу дрянь нады  
по фамилии чтоб ты ортопедический привет  
поднимается с утречком в повесточку глядя

ты накрой меня юбочка насмерть не хочу  
выкидывать коленцем повсеместное знамя  
потому что чижика моего лицом  
кобелиное слопало с потрохами вымя

## ДОМАШНЕЕ

дом как дом а нет угла  
чтоб не дрогнул ментик  
тащат черти спрохвала  
под гроб постаментик

ладят крышечку вояк-  
ам с крашеной шашкой  
туки-тук и таки-так  
глохнет под фуражкой

чье подкосится былье  
а чье и вспылится  
тачаночке воронье  
воздаёт сторицей

по углам хрупочет яд-  
ренная скотинка  
тиши мыши напрокат  
сусанинский глинка

холодняк на плацу  
да дрызг патефона  
растянулся цугом в цуг  
дубок ох клейменный

было дело с ветерком  
щи хлебал с травкой  
чей там кум чей нарком  
не хочешь а чавкай

молит квельый гнедых  
а молить-то поздно  
из угла кадиллом вспых-  
нул батюшка грозный

черен горский коготок  
знай бирочки вяжет  
валит пух из берлог  
из вражых лебязий

от москвы повзвыла до  
самых тварь окраин  
на цепях ходит дом  
ходуном задраен

гнет дракон в драндулет  
не горшки штанги  
сошел в три дуги на нет  
егорка архангел

под набат не бабах-  
нет пугач из пушки  
попримерзли в ковылях  
ушки на макушке

кони стынут на скаку  
храпит змий на месте  
возничего мала ку-  
ча славит без лести

разогнал вурдалак  
промеж звезд полозья  
нижет по белу так-так  
бедолажьи гроздья

в бушлат под рогожу ли  
коченей полундра  
мир дому где пожил  
стелись пухом тундра

тундра слаще нету сна  
кому ж встрепенуться  
славься смерть уродина  
мир без контрибуций

беспросветным занавес  
безлюбим пощаду  
да неймется ей землис-  
той нет с куклой сладу

подымите веки мне  
жив звон из могилы  
кишат вижу беса нет  
без трупного пылу

не хочу туда глядеть  
а вокруг эх скука  
растреклятая камедь-  
комедия с мукой

нет угла для кола  
чтобы вбить в паучью —  
в чем их наземь прогнала  
мать родная — кучу

## КАРТИНКА

волчья масть а право слово  
рады взвыл аллаверды  
ходит-бродит черноброва  
в тучах сучка хоть куды

ха-ха-хошки месяц выпер  
в речку штрипками суча  
гнет под кручу шлюху триппер  
бричку гонит каланча

смерть как ску! калмык с плаката  
с гуталинщиком бубнит  
да по нарам татарчатам  
снят садочки гесперид



## ПУЛЯ

в поле два ивана

на полюсе манеж

кремлевским хусточкам-де наше с бескозыркой

тут у вороны тапочки за здорово живешь

а в саратове с воблой конфорка

то-то барыньки в дрожь

да народная музычка сплошь

из репродуктора в нетопленную комнату

недобиткам стареньким под пулю невтерпеж

слушая байки молотова

## ЕЩЕ ПУЛЯ

проташили ж  
чики-чик в овраг мозговой колгун  
мечен с гнездышком  
с горихвосткой  
черту на зуб что ль несуть беглецкая?  
то не пули весть  
в поле с нечистью  
с жиру бешеные грачи

## ПОД РАСЧЕТ

### I

человеку кажется много  
не надо он весь свят  
потому что и в щель гнома  
еще дубиной костерят

если ж эта дубина невинна  
о живых повествующая временах  
отдай ей единственного дурень сына  
чтобы слеванным твоим пропах

не тех кто по пяткам фырча колотит  
большинство дохленьких кто усох и осип  
отдайте тете моего мишку тете  
моте жалуется ипполит

свое отхаркаю корчится ипа  
а дом тетин напротив будет стоять как стоял  
отдайте единственное мое черти без скрипа  
и забейте намертво голой рифмой подвал

чтобы выросло жирное как липочка цветение  
вокруг окровавленного плевками кирпича  
и напишите шелковое к празднику стихотворение  
бисером по сердцу мотиного егорушки кузьмича

пускай мальчик порадуетя глядя как завидушие  
из шеренги косятся топоча сапогом  
а мне много не надо райские кущи  
и детишек окончательная победа над врагом

## II

по расчетам квартирной платы  
и коммунальных услуг  
для тети моти и бабуси таты  
заколачиваемых в гоп-каюк

я до лучших пишу эти строчки оставив  
времен лиственнице шебуршать  
в гималаевой стае в небесной заставе  
где еще не выдохся беспробудный медведь

о том как звезданул никифор хармса в переносицу  
а следователь чуткин пепельницу об фета раздробил  
потому что краснознаменная в мозгах свиристела праздно-  
голосица  
и не стало на бледном перышке у них для блеющих терпения  
чернил

не то чтоб хотелось мне бить по нервам задешево  
поскольку с копыт давление падает и от сырости дратвой  
подхрустывает голова  
я охотно вручил бы вам ибн шар свое темное крошево  
в залог будущего в лоб пещерным мычания распрозрачного  
на российский слух как пригоженькое дважды два

ах пожалуйста вы за горами от меня за сякими не прячьтесь  
кудыкиными  
избяной ли в щели над подкошенным хлебником рассмешит  
по-блошиному с визгом обыск до слез  
я от нечисти телеграфными ошетинился столбами понатыкан-  
ными  
в космах замертво непросыхающих под катынским с пулей  
дождичком волос

слышь из этны он в колос друг пробивается к утречку гого-  
лем-моголем  
мертвых душ обреченный к живым в душу тычется костяной  
доломит-эмпедокл  
по такому-то что ли случаю надо тугому на ухо выблядку  
много ли  
чтобы вдрызг по коже с мурашками защебетал диплодокк

ну а если не слышишь глупыш значит нет для паршивой тете-  
ря бактерии  
восхитительной в пару крошки с которой мглу да вьюгу деля  
будут гамсуновы листать головка к головке мистерии  
до голодной в полсолнца случки впивая мороженные крен-  
деля

тетя мотя быть может объявит что жизнь моя насквозь бал-  
да в образину вышла анчутку  
чуть ворочающую лошадиным в роковом заведении языком  
но и тата не дура в мощах распояшется бабушка не на шутку  
и дочурке аккордным под зад отзовется во славу шопену  
пинком

тут меж ними бескровная в пух или прах завяжется как теневой спектакль потасовка  
привлекая стуком внимание обожравшихся и полусонных червей  
бабка папочке в пику дочь обзовет базарной жидовкой  
и на это поморщится по соседству голоштаный и добропорядочный еврей

гроб так с музыкой ну а за гробом клянусь из-под кустиков  
всласть для припева мордасти  
взбередил не какой-то припухший у меня на сердце бобок  
да не потому что над глобусом в жгут бортовое затягивается  
ненастье  
полосующее спину юнги мягко выражаясь царапинами вдоль  
и поперек

нет просто требуется строжайше платежным расчетом  
полагаясь туманно на тетку мотьку и на чертову бабушку  
головой  
записать навороченное в нем чуткиными как по нотам  
пока миленькие не явились душевно отблагодарить за художественное баловство

чтобы даже из распрэтакной беспросветной чуши и окоlesiцы  
доломитиком в люди выбился для весеннего шалопутства  
росток  
и пусть оно непогожее как юноша в прыщах перебесится  
отгуляв с подонками свое бешеное и взашей с песней выставив их нагишом за порог

так что увы возвращаюсь временно к тому как хряснула  
благодаря никифору у хармса переносица  
и оказался у фета афанасия легонечко под пепельницей череп  
вскрыт  
потому что не останавливается на полдороге сырая от проли-  
той знаменоголосица  
а у меня от ее величества гнилости что-то поджигающе в пе-  
ченках свиристит

## ПОИМЕННОЕ

*М. Ц.*

Ты просила кнута для своих плеч, а дождалась веревки себе на шею.

Отпевающий тебя равен твоему злосчастью.

Тебя укоряющий не стоит обертки, в которую тебя уложили, чтобы захоронить печатно на лобном беспамятном месте.

Но и понимающий — что может он в тебе слышать, кроме трубного, в натугу с башни, окаянства? Твои гордецкие слова наотрез непосильны для плачущих, и нет у них для обмирающих заветной пятиструнной.

Поседевшее по кровинкам время выбрало из твоего былья уголь обгорелый и загнало его в холм скелетный, не признав твоей хлыстом погоняемой души.

Просит жить твое сердце и не ждет ответа.  
Давит!

Ни моря с пеной, ни горы вровень, ни стыжего листика с рябиновой ветки.

Но есть у тебя имя.

Есть по имени знамя... и ни зги кроме.

\* \* \*

Пушкину не нужен Розанов. Нерваль не заплачет по мальчику Миларепе. В Данииловых



снах нет ларца для браслетов Титаника. И уходящий, сжегши книжную пыль, в распах горы Лао-цзы повернулся спиной к Вергилию с присными.

О чем воет снежная муть по степям, где прошли копыта мамаевы? Видит ли князь мучные лица, притороченные к черепакам лошадей? Перебирает ли, как змеей ужаленная, могилам обидные письма Чаадаева? Эхом ли вторит стону Украйны, занесенной в алданскую глыбь гедеушными эшелонами?

Полно! Воет она без метафор, вслепую, глухая к тому, что было и есть. Если б еще не выла — кричала... Но нет у нее горизонта: эта муть — *пуп земли*.

Что ж сворачиваться в клубок? Натягивать на голову одеяло? Шептать приворотное слюной и всхлипом, дрызгать по рваным струнам, у которых выколот глаз?

Равнодушен мир. Каждый врозь — безразличен: от кочки к кочке, от лютика к волку, от Лао-цзы к этой обморочной постылой заре и от степной снежной мути к звериным Данииловым снам.

Равнодушен — достаточный в каждой малости и отродясь не слыхавший о "трансцендентностях"...

Что мне, ночь, твой шесток, да шестку мой сверчок, если нет тебе от звезд оправдания? Что мне звезды на карте небесных морей, если тонут в китовой вселенской громадине? Наше солнышко, родом мужицкое, солнце Аписа, даже солнце Аустерлица — та же малость, покуда без спросу жива и гуляет живьем сама по себе: мир! Ходит

гоголем, а живит? "Расточает от полноты своей"...  
А вот солнце Каббалы, Плотина, Гегеля — что та-  
кое? "Звено в цепи"... т.е. звук пуст, в глаза дым.  
Увольте!

Пушкин — весь мир. Титаник — весь мир.  
Всякий лютик, браслет, винтик, тряпочка — весь  
пропащий до основания мир, весь — до дна впло-  
тьмах гвоздем над погибелью...

Кто там квохчет, скребет? Кто подхватит,  
взовьет? Ты ли выберешься в поименное эхо?

Ни Вергилий тебе не светит, ни присные, да и  
Розанова след в окурках простыл. Что ж тут ква-  
кать? Темно безъязычье! "Польхни, винтик, в  
тряпочку словцом обещаальным..."

Поименно: в струну — что со звяком в су-  
му; нет, брат, по миру нищеты безымянней. Име-  
нующий, кто тебя назовет?

Путь-то дальний...

И до дна свое гвоздят без просвета...

\* \* \*

N.N.

Этот так начинал:

*губа не дура, да труба-то сдуру, и в эту дуру дует  
грубодур...*

Так не знает конца:

*поэт нимфотворец*

*поэт брызжущий самец вязью*

*поэт со спицами в старушачьих крюках запродав-  
ший колодки и дратву*

*за шматок лимполо...*

Не успел, — а ведь спрос с шелудивых един!  
— околеть в полный рост с подзаборной псиной.

\* \* \*

Потом лейтенант оглянулся на злющий в потемках дом без углов и, с досады плюнув в черемуху, буркнул: "Феня, больше меня не ищи!"

Через час с малой четвертью он дул чай-нескучай в прощевальной Тюмени.

## ДАВНО ОБЕЩАНО

Куковала собака, и кудыкали утки. Грызла бабочка нищей сироткой крохи солнцевы в погорелом углу. Я к тебе под окно, как с облачка ветку, с флюгерка смахнул чалму попугая, чтобы выложила скрипучую правду бубенцовым в завалывшихся словом.

Та ли ты? Снова лето. Голубые, еще недавно глядевшие сырыми, распускаются подслеповато в сиреневых и зовут в невидимках сумерничать под зарницей. Грузчики облаков улеглись под осипшим кленом, и нет как нет грозовой тесьмы, обещающей крест-накрест перехлестнуть старушеницу дымного и застойного воздуха.

Где же ты? Трезвая льдинка мерцает в заоблачных спящим и коконом тычется в городящих безумное. Мир отшумел свое нелюдское под ветром, вскипающим дважды в три тысячи лет. Глухо. Скрипучая правда бредет по лесным половицам, и N.N., примеряясь к нахохленному велимиру, нанизывает потерянными голосом строки дней на палицу величавых и умолкших, быть может, невозвратно.

## ПЕРЕМЕНА МЕСТ

Посрамленное солнце рыло себе яму. Рыжие сумерки ему в том не препятствовали.

Когда выскочила из-за угла ласточка-акробатка и набросилась, жжих, жжих, на догорающего крота.

Эпоха к чертям опостылела. Учебники медлили и преспокойно жухли.

Тогда выглянул в окно бессонный и болезненный мальчик. Егорка, Митюк или Котья, он попросил акробатку об имени-отчестве вчуже не вспоминать. Он сказал ей без голоса, чтобы самоубийцу оставили в покое и чтобы времена, под хламой сумерек, на минуту увиденного считались последними.

Учебники вместе с учителями истлели на складе в зачарованном лесу. Жизнь, плюнув, ушла по грибы.

Мальчик был некрасив. Крот вслепую того не знал и поверить впотьмах не умел, укладываясь в долговременную могилу. Мальчик без имени был чудо-красив.

Эта могила казалась пучеглазым звездам ночной и плоской забавой. Одна только Медведица шелохнулась в испуге за свою мозглявую дочку. Но страх, мигом скукожившись, уступил место протяжной заботе, как это случается всегда постоянно, когда на руках у тебя любимые и единокровные среди тьмы тьмущих.

февраль 1981

## ПРОЩАНИЕ

колдует с розой соловей  
камыш не пикнет  
ночка  
навытяжку деревья  
фет удит в чернильнице ласточек  
помирать кому ж хоцца  
то-то б взлетел  
да крылышком этак хлобысть по мордасам  
застоявшихся волн  
знай мол нашенских  
мценские  
и растворился б в стихии дальней  
прощай афоня  
нож заготовит  
из кресла зыркнет в штанах дырявых  
любит в парке слушать полковые марши  
а у мамыши право душевная наследственная хворь  
у страдалицы нади  
лины немецкой  
запропавшего братца  
племянничка тож  
будет петя копать в говне  
биться крылышком  
ах кто ж не  
бил-барахтался не увяз

тяжелы твои боже оглобли слепни воздух сукровица  
заволочья уздцы да трясина со мгой да урочища  
волчьи

и т. п.

прости ласточка

чирк да вспых

нет отсрочки

знать рванулась недаром с цепи

рр-димая

горим мария

заиграла степь мордоплясами

и несутся на польмя за версту огонечки буйниц-  
кий чумпалова любинька страхов гробик роз-  
овый бозио мельница тимская дом погодинск-  
ий темное стадо грачей крест дубовый песц-  
овая шуба елены два бурмитских зерна анна  
к. мадам симка дрожки в конце аллеи стару-  
шкаборисова пёснепир пристяжная стариклии-  
пат привидения святки корнетъясноградский  
портнойшварцотельлуврскийовчинаярославская  
полбутылкидонского студентаполлон блесксв-  
ечитихийлязгколокольчика листпоследнийраз-  
метанный красаветвей тройкарезвыхчетырест-  
арублейподъемных мазуркамайскаяокольштемн-  
осинийсписокбьтия дамадебелаявбеломкружев-  
номплатье часысеребряныеплоскиесзолоченым-  
ободком

и пр.

ave amice fettie

то-то невмочь

дяденька ждать высочайшей милости

пока ночка ли в ноч-

ку из вечности в веч-

настигают  
ну не промахнись  
прошай мордастый кавалерист  
пархатый хозяйчик  
до скорого свиданьица с катуллом шопенгауэром  
под резцом нерасчисленных звезд



## СОДЕРЖАНИЕ

### I

<i>вечер</i>	11
<i>новогоднее</i>	14
<i>вступление</i>	16
<i>о жокеях</i>	18
<i>вредительство</i>	20
<i>стариковское</i>	22
<i>обман</i>	24
<i>судьба</i>	26
<i>новости науки и техники</i>	30
<i>больница</i>	31
<i>нервы</i>	33
<i>дуэт</i>	34
<i>блудный сын</i>	38
<i>предрассудки</i>	40
<i>тайное</i>	42
<i>времена изменились</i>	43
<i>котел</i>	44
<i>события</i>	47
<i>одиночество</i>	48
<i>двойники</i>	49
<i>характеры</i>	54
<i>вероника</i>	56
<i>весна</i>	57
<i>вася</i>	58

<i>с толстым</i>	60
<i>тургенев</i>	62
<i>курочка</i>	64
<i>исповедь</i>	69
<i>древо люция</i>	71
<i>мнимости</i>	79

## II

<i>где торопились птицы</i>	87
<i>спокойствие</i>	88
<i>моя ночь</i>	90
<i>домашнее</i>	92
<i>картинка</i>	95
<i>пуля</i>	96
<i>еще пуля</i>	97
<i>под расчет</i>	98
<i>поименное</i>	103
<i>давно обещано</i>	107
<i>перемена мест</i>	108
<i>прощание</i>	109



**ТОГО ЖЕ АВТОРА:  
ГРОЗОВАЯ ОТСРОЧКА**

**L'AGE D'HOMME**

**1978**



**ПРОЧЬ ОТ ХОЛМА**

**«СИНТАКСИС»**

**1982**